

2/90

ISSN 0236-3283

A close-up photograph of a person with short, spiky blonde hair and round glasses, wearing a denim jacket, hugging a black and white dog. The person's eyes are closed, and they have a gentle expression. The dog is looking towards the camera. The background is blurred.

MC62

Фото Александра ЗЕМЛЯНИЧЕНКО



ЛЕТО, ЛЕТО...
ТЕПЛОЕ, РАДОСТНОЕ, КАК ДЕТСТВО.
ПЕЧА ДОЛГОЖДАНЫХ КАНИКУЛ. ОТДЫХА
И ОБЫДЕННЫХ ДЛЯ СЕЛЬСКИХ РЕБЯТ ЗАБОТ —
ПАХАТЬ, СЕЯТЬ, ВОДИТЬ ПОВОЗЫ В ПОЧВУ —
ЗАБОТ, КОТОРЫЕ, ВОЗМОЖНО, ОСТАНУТСЯ
САМЫМ СЛАДКИМ ВОСПОМИНАНИЕМ В ИХ ЖИЗНИ.

В этом номере — стихи о детстве Евгения Барика Чилие.



Главный редактор
Геннадий БУДНИКОВ

Редакционная коллегия:
Сергей АБРАМОВ
Игорь АЧИЛЬДИЕВ
(редактор отдела публицистики)
Альберт ЛИХАНОВ
Дмитрий МАМЛЕЕВ
Георгий ПРЯХИН
Григорий ТЕРЗИБАШЬЯНЦ
(заместитель главного редактора)

Главный художник
Валерий КРАСНОВСКИЙ

Технический редактор
Ольга ЛАЗАРЕВА

На первой обложке
фото Михаила СТЕПАНОВА

© «Мы», 1990
Издательство «Дом» Советского детского фонда
имени В. И. Ленина
Адрес: 101963, Москва, Армянский переулок, 11/2А
Телефон: 923-66-61
JSSN 0236-3283

Отпечатано в типографии
А/О Принтхотел
Сониипринт Финляндия

Сдано в набор 24.05.90 г.
Подписано в печать 29.06.90 г. Б-04462
Печать офсетная. Усл. печ. л. 10,1. Уч.-изд. л.
12,73. Тираж 1 857 000 экз.

2/90



ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ЖУРНАЛ
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
СОВЕТСКОГО
ДЕТСКОГО ФОНДА
им. В. И. ЛЕНИНА

СОДЕРЖАНИЕ

Булат Окуджава. «А время быстро катится — такие вот дела...»	4
--	---

ПРОЗА, ПОЭЗИЯ

Валерий Алексеев. Паровоз из Гонконга. Повесть. Продолжение	18
Александр Башлачев. «Я не знал, как жить...». Стихи	160
Лидия Чарская. Ради семьи. Повесть. Окончание	106
Ника Турбина. Сеанс Молчанья. Стихи	102
Проба пера. Оля Фикс. Ярко-красные яблоки. Рассказ	99

ВЕЧНАЯ КНИГА

Вавилонская башня. Библейские легенды	163
---	-----

ХОЧЕШЬ БЫТЬ ДЕЛОВЫМ!

Галина Мыльникова. Фермер Вадик Чмиль	85
--	----

ГОВОРЯ ОТКРОВЕННО

Письма в «Мь»	148
---------------------	-----

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ СУДЬБЫ

Вольдемар Балязин. Недопетая песня России	174
Рок-энциклопедия	152
Тусовка. Посмотреть на самих себя	186

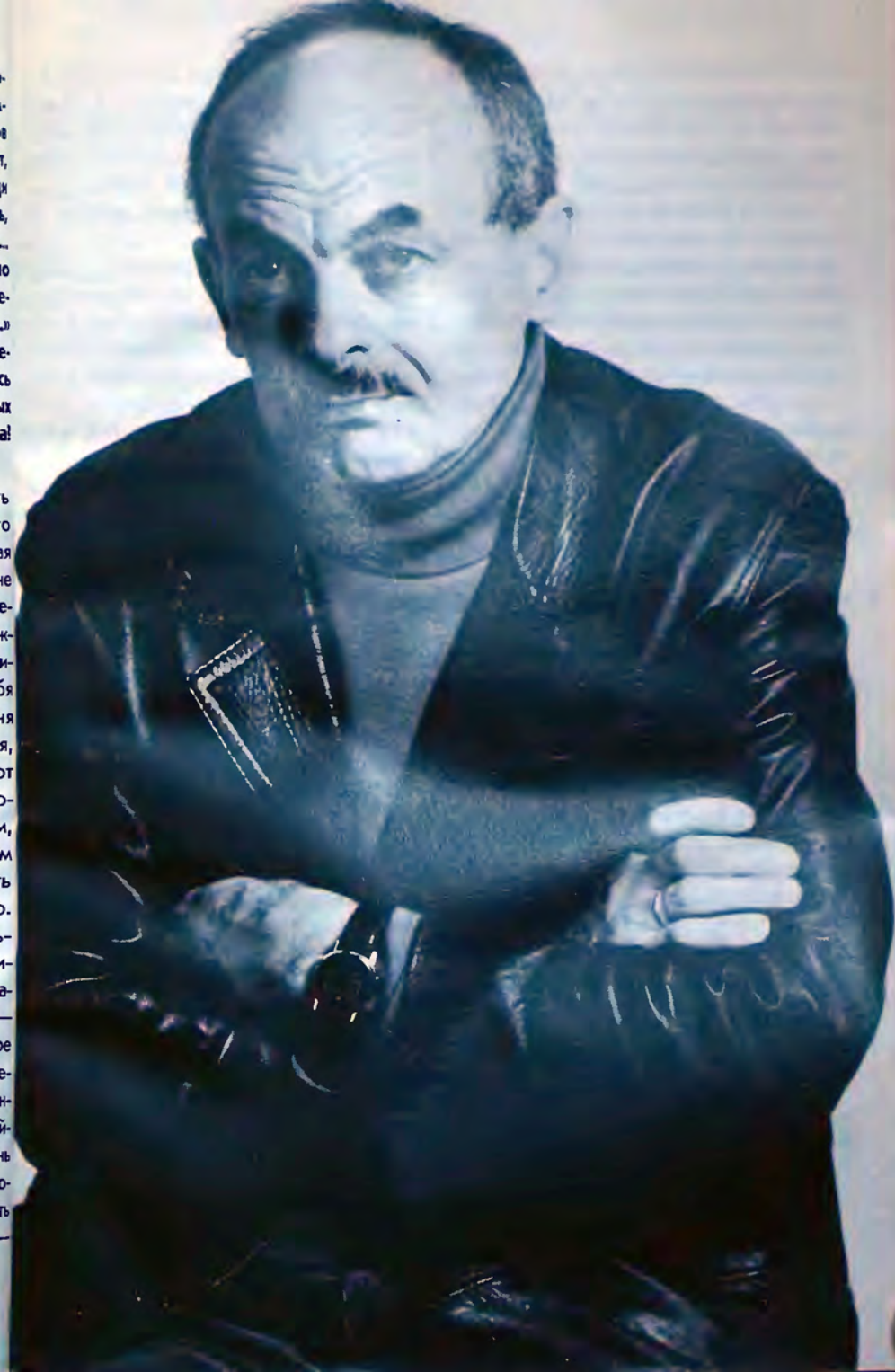
Булат ОКУДЖАВА:

«А ВРЕМЯ БЫСТРО КАТИТСЯ — ТАКИЕ ВОТ ДЕЛА...»

1 сентября 1989 года.
Полдень. Платформа Мичуринец
Киевской железной дороги,
в получасе езды от Москвы.
Беседу ведет
Михаил ПОЗДНЯЕВ.

— Булат Шалвович, вы человек многоопытный. Автор «Колымских рассказов» Варлам Шаламов говорил, что литературный опыт, который ему достался, не приведи Бог никому не то что испытать, а узнать о нем с чужих слов... «Опыт, сын ошибок трудных», по мнению Пушкина, готовит человеку множество «открытий чудных...» От личного опыта заречься невозможно — и все же не хотелось бы вам предостеречь ваших юных современников от какого-то опыта!

— Вообще об опыте говорить очень трудно. Трудно потому, что никакие благие советы, никакая передача жизненного опыта не могут дать положительного результата. Каждое поколение и каждый человек в отдельности начинает «с нуля». Я вспоминаю себя в «трудном возрасте» — на меня не действовали никакие поучения, никакие нотации старших. Как от стенки горох отскакивали!.. Человек должен сам через все пройти, сам ткнуться во все носом, сам получить по щекам, сам испытать все, что ему на роду написано. И выпутаться из всего, выкрутиться, насколько ему позволяют силы, и ум, и понимание своих задач. В юности самое главное — найти себя. Это вообще главное в жизни. Сколько людей — прекрасных, благородных, одаренных — погибли, не сумев себя найти. Дело очень не простое и очень мучительное... И я не берусь молодым людям что-то советовать еще и потому, что мой опыт —



это мой опыт. Это мои пощечины, мое страдание. И мои удачи. Все зависит от обстоятельств, в которые попал человек, и от его за-
кваски...

— Но ведь есть такая вещь — назовем ее «комплекс Иванушки-дурачка» — знаете, искать на свою голову приключений. И часто бывает, и сейчас такое происходит, что начинается в поколении как бы эпидемия вот такого «поиска»...

— Ну, правильно, есть и такая вещь. Но это — просто доказательство того, что у каждого человека есть потребность поиска себя самого. А уж каждый ищет теми способами, которые есть в его арсенале. Это, по-моему, даже чаще случается, что по ложному пути устремляется большинство. Но только, знаете, это еще ничего само по себе не значит. Да и разве может один человек остановить бегущую толпу? Я в юности тоже так «искал», спотыкался, творил черт знает что. И курил, и выпивал. И пытался воровать...

— **Вы!!**

— Представьте себе. В нашем доме был ресторан, а кухня окнами выходила во двор. И мы как-то стащили жареного гуся и какое-то дешевое вино и устроили пир в подъезде. Все в этом арбатском дворе было, все уживалось и страшно переплеталось. Я не знаю, если бы я в этом доме на Арбате жил взрослым человеком, не думаю, чтобы дом, и двор, и Арбат сыграли бы какую-то роль в моей судьбе...

Всякое бывало в моем детстве как видите. А потом — я даже понять не могу, какая сила меня спасла. Кто взял меня за руку что мне помогло? Не знаю...

— **Может, все-таки кто-то из взрослых!**

— Нет, нет... Семьи у меня с тринадцати лет по-настоящему не было — родители мои были репрессированы, отец расстрелян, мама долгие годы провела в заключении. Жила со мною и моим братом несчастная бабушка. Мои дяди и тети меня щадили. Если даже они что-то о времени, в которое мы жили, знали и серьезно думали, меня они никогда не посвящали в это...

— **И посторонних взрослых не было, которые как-то...**

— Ну да, понимаю, как-то умудрялись ложку дегтя в мою бочку меда добавить? Нет. Нет. Таких, к сожалению, не было. Да я думаю, что я бы и не воспринял никак эту ложку дегтя. Уж слишком была велика моя бочка меда. Слишком велика. Страшно: я сам — в рванье и вечно полуголодный, и кругом у всех такая же, как у меня, жизнь... И мне она даже нравилась...

Я вспоминаю сейчас своих друзей по этой компании. Все мы искали во дворе и его окрестностях, если честно, развлечений, легкой жизни. Но в то же время... Я как-то однажды задумался, издали ли посмотрел в мое детство — и, если не считать тех, кто погиб на фронте, все, кто остался в жи-

вых, вышли в люди. Все так или иначе себя нашли, переломили невеселую судьбу нашего поколения. Тут нет особенной нашей заслуги.

Я очень люблю, между прочим, фразу, сказанную русским премьером Столыпиным. Конечно, это не панацея и не философское обоснование всей нашей жизни, но, тем не менее, фраза эта потрясающая, заставляет задуматься. Столыпин приехал в Киев, насколько я помню, и там было какое-то многоярусное собрание. Он сидел на сцене, а на галерке бушевали студенты. Полициеймейстер наклонился к Столыпину и сказал: «Ваше Превосходительство, прикажите — я их всех сейчас разгоню». А Петр Аркадьевич ему благодушно ответил: «Не надо, голубчик, они сами все через год станут благонамеренными чиновниками...»

Понимаете, в этом что-то есть. В Швеции, больше двадцати лет назад, я впервые увидел хиппи — и пришел в ужас. Я с тревогой спрашивал шведов, что они собираются предпринять, как они намерены с этим кошмаром бороться. А они в ответ улыбались, как Петр Аркадьевич Столыпин: «Скоро они все пойдут в университет, поступят на работу — и их бунт кончится...» И это действительно так, действительно...

Бунт в этом возрасте, я думаю, неизбежен. И он даже необходим. Другое дело, когда этот бунт превращается в преступление. Но, право же, эти два понятия очень

далеки друг от друга — по крайней мере с точки зрения юриспруденции.

— Я даже заметил бы, что массовые движения, представляющие опасность для человека и человечества, несколько не похожи на бунт. Взять нацизм ли, расизм или наших разнообразных «люберов», озабоченных «чисткой общества», «защитой нравственного здоровья». Мне лично всегда подозрительна излишняя организованность, стрижка под одну гребенку всех и вся...

— И мне тоже... Нет, бунтарей бояться не надо. Тут другая тревога. Всегда есть — и не только среди бунтующих подростков — такие люди, которые просто не могут удержаться. Да таких никто и не сможет удержать. Совесть — это ведь не чужой опыт, данный тебе взаймы. Это тоже только твой личный опыт. Я часто читаю статьи, смотрю по телевидению передачи о воспитании, об отношениях поколений — и все яснее вижу: есть какая-то биология, дающая себя в каждой судьбе знать. Есть — увы или по счастью. Мы всегда все сводили к влиянию среды, к воздействию коллектива — нет, нет, все больше я склонен думать: в каждом человеке, как и доброта изначальная, заложен какой-то порок изначальный. Нам бы почаще об этом говорить...

— Каинова печать! Адамов грех!

— Назовите, как хотите, но просто есть в людях некое общее

свойство, которое с годами в одних проявляется больше, в других — меньше...

К слову, вот моя совсем новая песенка — я хочу вам ее подать...

ПЕСЕНКА

Король ушел на пенсию,
оставлен от двора.
Сменить свою профессию
пришла ему пора.
От трона королевского
он обалдел сполна,
и тут не спросишь, не с кого —
такие времена.

Король ушел на пенсию
под дудку и свирель,
и завершилась песней
вся эта канитель.
Кричит в восторге публика,
таращит мир глаза:
«Да здравствует республика!» —
такие чудеса.

Нет карнавала радужней,
но в той толпе, как врос,
стоит тиранчик завтрашний,
засунув пальчик в нос.
Никто и не спохватится:
пред ними даль светла,
да время быстро катится —
такие вот дела.

Понимаете, если бы общество состояло из людей порочных и людей замечательных, но не допущенных к делу, и теперь мы, пользуясь обстоятельствами — перестройкой, гласностью, демократизацией, — всех порочных выгоняем, а замечательных сажаем на

их места — и все?.. Нет. Простите — все порочные. А как же спастись? Как жить?

— Я думаю, будь то отношения взрослого и подростка или же людей одного возраста, надо стараться не переубеждать, не гнуть, не насиловать натуру твоего собеседника, а...

— Соучаствовать! Это беда наша — мы просто не умеем строить взаимоотношения. Мы агрессивны, мы не уважаем личность, поскольку понятия личности для нас вообще не существует. Вместо того, чтобы радоваться появлению чего-то необычного, мы сразу преследуем, гоним все это необычное. В здоровом обществе случаи неудач, ненахождения себя единичны. А мы — больное общество, и когда мы спрашиваем себя, почему так трагично сложилась судьба того или другого яркого художника, писателя, артиста, мы просто не даем себе отчета в том, что все это — закономерность. И тогда теряются не просто люди — поколения...

— Булат Шалвович, мы говорили о массовых проявлениях болезни поколения или каких-то положительных свойств поколения. Но есть еще такая вещь, как лидерство, выдвижение из общего ряда.

— Я вспоминаю себя в школе. У нас, конечно, были лидеры. В любом классе они есть. Это не обязательно «атаманы», «коноводы». Не обязательно самые сильные, подавляющие физически.

А просто как-то постепенно выделяется из массы личность, к которой все тянутся. Класс сам для себя, по молчаливому согласию, избирает человека, личность, конкретными поступками выражающего уровень класса. Если класс находится на низком интеллектуальном и нравственном уровне, он и выбирает себе лидера соответствующего. По Сеньке и шапка. Вот мы сейчас задним числом куражимся над нашими недавними лидерами, а ведь это были наши лидеры. Мы их выдвигали — как бы мы сегодня ни кивали на «прелести» сталинщины. Если мы сами будем жить по высокому счету, то ни один подонек не станет нашим лидером. Он придет в здоровое общество, в компанию порядочных людей, и если его не погонят взащеи, то просто над ним посмеются. Вот и все...

— Но тут важна «сопротивляемость организма» поколения, чтобы всегда работал механизм отторжения болезнетворных клеток, раковых клеток. И в этой связи мне кажется, что нынешнее поколение — при всей благоприятности общественного процесса нашего времени — пассивно. По-настоящему в перестройке поколение подростков не участвует. А ведь если от кого зависит дальнейшая судьба перестройки, так это именно от подростков... Что-то не слышно сегодня клятв на Воробьевых горах, понимаете?

— Нет, я с этим не могу со-

гласиться. Каждое время представляет образцы взрослых людей, осуждающих подростковое поколение за социальную пассивность. Каждое время. И наше не исключение. Я встречаю прекрасных молодых людей. Они способны и на клятву на Воробьевых горах. И на многое еще... А потом — почему эти клятвы должны произноситься во всеуслышание?! О клятве Огарева и Герцена мы узнали, когда эти люди уже выросли. Поэтому у меня нет такого пессимистического отношения к молодому поколению. Трудные? Все общество трудное. Что, взрослые не трудны? Так же, и более того, и вдобавок отвратительны...

— Ну, а этим-то ребятам труднее всех: они носят вериги и путы всех предшествующих поколений...

— Конечно. Но я не считаю, что в лицах наших современников — молодых ли, старых — проступают признаки гибели общества. Я совершенно другого мнения. Я вижу — и среди молодых особенно — достаточно много достойных, смелых, думающих, слушающих, страдающих, хороших людей...

— А среди ваших друзей каких больше было — думающих или бездумных?

— Вы знаете, все-таки есть разница между нами и сегодняшними подростками. Они — телевизионное поколение. Не только потому, что у них есть ТВ и видео, но вообще в их жизни лицезре-

ние, восприятие «зрительного ряда» занимает огромное место. Мы в основном общались. И читали — те, кто любил читать.

Среди всех, кого я знал в детстве и юности, был только один по-настоящему незаурядный человек. Мой ровесник. С очень трезвым взглядом на жизнь. Владик Ермаков. Что нас свело, я даже не понимаю, но, думаю, тут судьба распорядилась: мне нужен был сильный друг, человек умнее, мудрее меня. Владик всегда жил своей жизнью, у него был свой круг интересов, во двор он никогда не выходил, читал свои книги — к примеру, Хемингуэя, о котором я и понятия не имел. Он презирал дворовую жизнь — ту, в которую я бросился, как в омут, с головой. И когда мы с ним сдружились, я сразу начал остывать ко двору. Меня в этот момент довольно ощутимо развернуло в моей жизни. Такой был Владик...

Что касается остальных моих сверстников — увы. Мы все были слепые, неодоухотворенные, преступно наивные. Жили мы по официальным, я бы сказал, «парадным» законам того времени. Играли в Чапаева, в армию собирались в один танковый экипаж, боготворили заграничных коммунистов. Долгое время предметом наших вожделений был рассказ о том, как одного из нас на Красной площади взял на руки чешский коммунист. На счастливчика смотрели, как на... слов не подберу!

Вот я всю жизнь воспеваю

Арбат. Это так. Но ведь Арбат был правительственной магистралью. Сталин проезжал по Арбату на «ближнюю дачу», пролетал Арбат насквозь из Кремля в Дорогомилово. И каждый арбатский подъезд, каждая подворотня забиты были охраной. Под особым контролем находились окна. Я это запомнил, эти проезды, но тогда все это как-то в сознании преломлялось. А сегодня вспоминаю с отвращением...

— Когда прозрение пришло — на войне!

— Понемножку. Шло очень медленное, очень постепенное выправление всех вывихов...

— А вы не помните день 1 сентября 1939 года — как раз ровно пятьдесят лет назад!

— Очень смутно. Я не помню, чтобы эти события на нас произвели хоть какое-то впечатление — договор, начало войны с Польшей... Единственное, что я помню, это как наши войска вступили в Западную Украину. Это — да! Это был праздник: «Красная Армия, армия-освободительница, спешит на помощь угнетенным братьям!» — да, большая была радость для меня. Ни о каких последствиях я не думал, никакого трезвого анализа не делал...

Война застала нас врасплох. Мы не были к ней готовы. Были готовы к чему — «если завтра война, если завтра в поход, ура, готов ко всему, что угодно, пожалуйста!» Пошел я на войну азартно — и через пять дней все сошло.

Закваска некрепкой оказалась. Увидел кровь, грязь, вшей, узнал, что такое недоедание, недосыпание... Стало гадко, страшно. Все ведь лозунгами подменялось. Энтузиазм — хорошая вещь, когда надо во дворе деревья сажать. А сажали, увы, все больше не деревья... То есть какая-то работа проводилась — парады физкультурников, состязания на значок ПТО, стрельбы на значок «Ворошиловский стрелок». Внедряли культ мускулов, культ силы. А была и есть еще и душа. Твоя личная жизнь, воля, право выбирать, как тебе поступить...

Печальное это воспоминание.

— А может, в судьбе вашего поколения сыграло роль и то общее для всех условие, что подросткам как-то не свойственно сострадать родительским бедам, боям [малыши — те как раз очень чутки и отзывчивы]; подросток настолько погружен в поиск своего места в жизни, что порой не замечает вообще ничего рядом...

— Да, знаете, раз на раз не приходится. Хотя, конечно, подростковый эгоизм — очень сильная вещь! Взрослая жизнь для подростка проходит как будто в тумане. Но, я думаю, это все-таки не абсолютный закон.

Опять же, эти разговоры сегодня ведутся взрослыми из эгоистических соображений. Надо взрослым срочно собой заняться — их вина! — а не подсчитывать грехи детей...

— Булат Шалвович, сейчас

одни говорят о политизации, идеологизации сознания, другие — что надо, наоборот, деидеологизировать сознание, вывести его из-под гнета политики. Переход от одной точки зрения к другой размыт, просто незаметен. Тут я на днях прочитал извещение о создании Всесоюзной ассоциации школьников. Она, судя по заметке, призвана защищать права подростков, отстаивать их «коренные интересы»...

— Ну вот, создадут еще одну касту бюрократов — председателя, заместителей, заведующих отделами...

— «Союз друзей», вспомнивая вашу песню, — это все-таки нечто иное!

— Да, конечно... Все наши «неформальные движения» — надо помнить и понимать это — возникли из протеста. Из невозможности дольше — в условиях гласности — терпеть обман и ложь... Комсомол и пионерская организация, на мой взгляд, выродились. Никаким косметическим ремонтом тут не обойдешься. И никакими компромиссами с «неформалами». Вот они нас вели, вели, вели... и куда привели? Значит, надо самораспускаться. Ведь как лидеров этих людей уже никто не признаёт — так они себя скомпрометировали...

— Я сейчас подумал о вашей исторической прозе. О том, что одна из главных ее тем то, как трудно быть Сыном Отечества.

— Да, пожалуй.

— **Сегодняшнее состояние патриотического воспитания ужасает.** Я тут услышал от одного молодого человека такое словечко — «совок». Я говорю: «Это что?» Он объясняет: «Это советские люди — совки». Я говорю: «Кто — бюрократы, чиновники?» Он говорит: «Да нет, вообще советские люди. Советский образ жизни, значит...» Вот так. Что скажете?

— Потому что людям надоела болтовня и бахвальство. Вот мы все время говорим о патриотизме. А у меня, например, протест против этого слова. Мы должны воспитывать не патриотов — но граждан. Не патриотизм — но гражданство.

— **Есть разница?**

— **Есть.** Патриот — это тот, кто любит свою родину. Но кошка тоже любит свою родину. И мышка любит. Значит, этого мало. Любить свое место под солнцем — мало! Нужно человеку всегда и во всем мыслить самостоятельно, независимо, творчески. Нужно учиться быть сыном, гражданином Отечества. И это уже очень много. Очень серьезно. Воспитывать это нужно не лекциями, не юбилейными речами, не газетными заголовками, а жизнью. Общей нашей жизнью.

Ну, например. Почему я еду по Америке в течение трех месяцев, и везде — везде! Это вот совершенно поразительно! — перед домом национальный флаг. Или дома, в квартире — на столике или на стене. И я начинаю думать: а у нас красный флаг кто-нибудь

у себя дома повесит? Да никто не повесит.

— **И одновременно — другая вещь: у каждого американца на рабочем столе фотографии его жены, детей, родителей.**

— **Обязательно.** Это и переплетается, но это и части целого — того, что должно быть в генах... Мы сегодня очень торопимся, очень спешим в требовании реформ. Потому что устали. Но это психология уставшего и эгоистичного подростка. Помните знаменитую притчу об английском газоне? Отчего это, мол, у вас такие ровные газоны? «А мы, — говорят, — их утром подкармливаем, днем — поливаем, вечером — подстригаем». — «И все?!» — «Все. Так — триста лет»... Так и в жизни — постепенный рост. Если опять вернуться к опыту — и историческому, и моему личному, — опыт подсказывает: все эти резкие рывки, эти катаклизмы и революции, они не способствуют истинному росту. Они только раны наносят. Больные раны. Иногда не заживающие. Я — сторонник эволюции...

— **«Совесь, благородство и достоинство — вот оно, святое наше воинство», — я недавно вспомнил эти ваши стихи, когда лопал на телевидение, сел за «круглый стол» с очень молодыми людьми. Мы говорили об «отцах и детях», о «конфликте поколений». Ребята все жаловались: «Вы нам не даёте пути, покамест травка подрастет — лошадка с голоду помрет, мы потому и уходим и в**

рок, и в наркоманию», и так далее. А со мной рядом сидел такой — ну выпитый Кюхельбекер, и он вдруг вскипел: «Да как вам не стыдно, ребята, сколько вокруг всего, где есть руки приложить, — и инвалидные дома, и запущенные, разваливающиеся памятники архитектуры, и старые, бедствующие библиотеки!»...

— А они ему сказали: «Иди ты!»?

— Нет, не сказали. Там, в общем, ребята славные собрались, но они все это выступление пропустили мимо ушей. А меня пропало.

— Они всегда были и будут — Кюхельбекеры... Что же касается рока, рок-культуры, ухода в нее — знаете, когда-то я написал статью «В защиту бездарности». Там разговор шел о том, что не надо преследовать бездарного человека, пишущего стихи, поющего, рисующего. Человек сочиняет стихи. Или музыку. Ему нравится. Не ругайте его за это! Его друзьям и родственникам приятно. Не смейтесь над ними! Ругайте того, кто все это печатает, выносит на широкую публику. Вот тот — преступник! Я примерно так же думаю и о нашем телевидении, и о фирме «Мелодия», и о концертных организациях, которые в таком количестве, без разбора и колебаний, вываливают на наши головы всякий хлам. Вся печаль в том, что эти молодцы мало что бездарны, еще и похожи друг на друга, а их преподносят, каждого в отдельности, как явление культуры. Юная пе-

вица с непоставленным голосом, снискавшая какой-то шум одним-двумя шлягерами, говорит репортеру телепрограммы: «Я в своем творчестве...» Вслушайтесь в то, что она говорит! Творчество — это у Пушкина, у Чехова: они, каждый из них, свой мир творили! Вот ведь в чем беда...

И еще печаль — тоже от безграмотности людей, допустим, на телевидении работающих. Выступает какой-то музыковед, его спрашивают: «Что вы больше любите — рок или классику?» Он говорит: «Конечно, классику — она серьезнее, интереснее...» Боже мой, но почему?! И хороший рок хорош, и хорошая симфония; и плохая симфония отвратительна, и плохой рок гадок. Так должно быть — плохое и хорошее противопоставлять, а не хорошее и хорошее...

— А еще хуже, когда спрашивают мальчика о том же самом, и он лжет, говоря: «Мне нравится больше симфония».

— Да, да. Нельзя противопоставлять ничего — ни музыку, ни поэзию в лице пишущих стихи людей, — все хороши. Да и людей не надо бы противопоставлять. Это Бог решит потом, кто каков...

— Ваш младший сын — композитор!

— У обоих сыновей, по-разному, жизнь шла довольно трудно. У старшего — это более выражено внешне, через печальные обстоятельства судьбы, у младшего — внутренний драматизм. Он увлекался биологией, серьезно го-

товился к поступлению в университет, занимался с педагогами-репетиторами. Потом вдруг, в девятом классе, начал изредка подходить к старенькому пианино и что-то там выстукивать одним пальцем. Потом чаще, и чаще, и чаще. Слышу вдруг ночью что-то наигрывает. Никогда не играл, не подходил близко к инструменту, а тут такое... Хорошо. Спустя какое-то время приехал к нам из Ленинграда наш друг — композитор Шварц, сидели, пили чай. Он спрашивает: «А кто это там играет?» Я говорю: «Да вот наш Буля пробует что-то такое...» Шварц подошел к двери, постоял, послушал, потом вернулся и сказал: «Ты знаешь, это очень интересно».

Через некоторое время я полусуто спросил сына: «Может, тебе не на биофак, а в музыкальное училище поступать?» И он так просветлел и твердо мне отвечает: «Да!»

Прогнали репетиторов, он поступил в музыкальную школу, прошел весь курс за год или полтора. А перед самым поступлением в училище при консерватории было у нас горе: он возился с инструментами и отрезал себе палец. Но, представьте, как-то ухитрился — поступил и закончил училище успешно. Что будет дальше, пока не знаю...

— Булат Шалвович, а все-таки, от чего бы вы, если бы вам дали на то волю, оберегли подростков — читателей журнала «Мы»!

— Не знаю. Не знаю. Просто каждый человек — это я знаю точ-

но — должен однажды сесть и подумать: что делать, чтобы не быть скотом.

— На это каждый способен.

— Почти.

— Вот сегодня — 1 сентября.

Обычно в школах первый урок — «Урок Мира». А я сейчас подумал: почему бы такой урок, о котором вы говорите, не провести...

— Да, да. Это хорошая мысль — 45 минут на размышление: «Как не быть скотом?» Потому что это ведь очень просто — и таких возможностей нам каждый день сколько угодно предоставляет. А вот хотя бы 1 сентября, утром, 45 минут молча подумать, как бы все-таки постараться скотом не быть.

И тогда, может, не потребуются ни уроков истории, ни уроков военного дела. Я как-то вслух сказал: «Почему военно-патриотическое воспитание, а не мирно-патриотическое?!»

Генералы обиделись...

Я знал одного мальчика. Он был очень подвержен дурным влияниям. Беда. Но, к счастью, лишь до какого-то момента. И он всегда находил в этот момент совершенно невероятные силы — и останавливался. Улыбался — и уходил.

Ему кричали: «Да ты чего?! Все только началось, еще как будет, знаешь?!» А он — улыбался и говорил себе: «Стоп!»

Вот это и значит: в человеке есть человек.



Тот самый двор, где я сажал березы,
был создан по законам вечной прозы
и образцом дворов арбатских слыл;
там, правда, не выращивались розы,
да и Гомер туда не заходил...
Зато поэт Глазков напротив жил.

Друг друга мы не знали совершенно,
но, познавая белый свет блаженно,
попеременно — снег, дожди и сушь,
разгулы будней и подъездов глушь,
и мостовых дыханье,
неизменно
мы ощущали близость наших душ.

Ильинку с Божедомкою, конечно,
не в наших нравах предавать поспешно,
и Усачевку, и Охотный ряд...
Мы с ними слиты чисто и безгрешно,
как с нашим детством — сорок лет подряд;
мы с детства их пророки...

Но Арбат!..

Минувшее тревожно забывая,
на долготы втайне уповая,
все медленней живем, все тяжелей...
Но песня тридцать первого трамвая
с последней остановкой у Филей
звучит в ушах, от нас не отставая.

И если вам, читатель торопливый,
он не знаком, тот гордый, сиротливый,
извилистый, короткий коридор
от ресторана «Прага» до Смоленки,
и рай, замаскированный под двор,
где все равны:

и дети, и бродяги,
спешите же...

Все остальное — вздор.

ДУШЕВНЫЙ РАЗГОВОР С СЫНОМ

Мой сын, твой отец — лежебока и плут
из самых на этом веку.
Ему не знакомы ни молот, ни плуг,
я в этом поклясться могу.
на благо родимой страны —
он все норовит заработать строкой
тебе и себе на штаны.

Когда на земле бушевала война
и были убийства в цене,
он раной одной откупился
от смерти на этой войне.
И все же, и все же не будь
с ним суров
(не знаю и сам, почему),
поздравь его с тем, что он
жив и здоров,
хоть нет оправдания ему.

Когда погорельцы брели
на восток
и участь была их горька,
он в теплом окопе пристроиться
смог
на сытную должность стрелка.
Он, может, и рад бы достойней
прожить
(далече его занесло).
Но можно рубаху и паспорт
сменить,
да поздно менять ремесло.



В день рождения подарок преподнес я сам себе.
Сын потом возьмет, озвучит и сыграет на трубе.
Сочинилось как-то так, само собою
что-то среднее меж песней и судьбою.

Я сижу перед камином, нарисованным в углу,
старый пудель растянулся под ногами на полу.
Пусть труба, сынок, мелодию сыграет...
Что из сердца вышло — быстро не сгорит.

Мы плывем ночной Москвою между небом и землей.
Кто-то балуется рядом черным пеплом и золой.
Лишь бы только в суете не доигрался...
Или зря нам этот век, сынок, достался!

Что ж, играй, мой сын кудрявый, ту мелодию в ночи,
пусть ее подхватят следом и другие трубачи.
Нам не стоит этой темени бояться,
но счастливыми не будем притворяться.

ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК МОЕГО СЫНА

Земля гудит под соловьями,
под майским нежится дождем,
а вот солдатик оловянный
на вечный подвиг осужден.

Его, наверно, грустный мастер
пустил по свету невзлюбя.
Спроси солдатика: «Ты счастлив?»
И он прицелится в тебя.

И в смене праздников и буден,
в нестройном шествии веков
смеются люди, плачут люди,
а он все ждет своих врагов.

Он ждет упрямо и пристрастно,
когда накинута трубя...
Спроси его: «Тебе не страшно?»
И он прицелится в тебя.

Живет солдатик оловянный
предвестником больших разлук
и автоматик окаянный
боится выпустить из рук.

Живет защитник мой, невольно
сигнал к сраженью торопя.
Спроси его: «Тебе не больно?»
И он прицелится в тебя.

ПЕСЕНКА

Совесьть, благородство и
достоинство —
вот оно, святое наше воинство.
Протяни ему свою ладонь,
за него не страшно и в огонь.

Лик его высок и удивителен.
Посвяти ему свой краткий век.
Может, и не станешь победителем,
но зато умрешь, как человек.



ПОВЕСТЬ

ПАРОВОЗ ИЗ ГОНКОНГА

8

Когда Тюрины вышли от доктора, уже стемнело. Стало холодновато, на главной улице засияли витрины, вспыхнули бегающие и мигающие огни реклам. Впрочем, приглядевшись, можно было заметить, что многие буквы рекламы не горят, другие заменены не по цвету. Однако, на шербоватый взгляд, вечернее оформление города было великолепным.

— Заграница! — с чувством воскликнула Людмила.

Шли параллельно главной улице по длинному переулку, замусоренному опавшими цветами и крупными фикусовыми листьями, в сопровождении летучих мышей, которые, выныривая из темных садов к лампам, вершили свои ломаные полеты, то становясь ярко-белыми на свету, то пропадая во тьме.

— А неплохой дядька, этот доктор, добрый, веселый, — сказал Андрей единственно для того, чтобы проверить, помнят ли родители те загадочные слова о кверулянтной паранойе.

— Жулик он веселый, — ответила мама Люда и простодушием своим убедила мальчика в том, что ничего такого угрожающего доктор Слава не сказал. — Как это лекарств у него нет? Куда он их деваает?

— Все у тебя жулики, — миролюбиво проворчал Андрей.

— А у тебя все хорошие, — возразила мама Люда, — кроме матери с отцом.

Продолжение. Начало в № 1, 1990 г.

Но спорить никому не хотелось, и Людмила, помолчав, прижалась к локтю мужа и проговорила:

— Ой, Ванюшка! Хорошо, что ты нас сюда вывез.

И поскольку Иван Петрович расслабленно молчал, она повторила шепотом:

— Хорошо.

Однако инстинкт, наверно, подсказывал ей, что долго предаваться радости опасно, что именно в такие моменты блаженства и подстерегает человека настоящая беда, поэтому нужно все время держать ухо востро и при каждом удобном случае высчитывать варианты, откуда беда может прийти.

— Интриг тут, конечно, много,— задумчиво проговорила она.— Как бы нас с тобой не втянули... Плохо, если с самых первых дней окажешься игрушкой в чужих руках. Вот зачем нас послали к этим самым Аникановым? Свергнутое начальство, со Звягиным наверняка на ножах. Может, провокация, а, Ванюша? Как ты думаешь? Может, Звягин нас проверяет?

— Думаю, тягло это, повинность,— непонятно отозвался Иван Петрович.— Смысла нет ему нас пока провоцировать.

— Может быть, ты и прав,— сказала Людмила.— Но осторожность никогда не помешает.

Пансион «Диди», могучий, десятиэтажный, высился среди мелких особняков точно на указанном Матвеевым месте, в трех кварталах от офиса. Единственный подъезд со стеклянной дверью оформлен был, как титульный лист книги прошлого века, с рамочкой и виньетками по углам, даже с названием «Диди», начертанным прописными позолоченными буквами. Лифт в «Диди» не работал, кнопка вырвана с корнем, ручки двери замотаны медной проволокой. Впрочем, подниматься было невысоко, на второй, а точнее, с учетом цоколя, на третий этаж.

Дверь аникановской квартиры была гостеприимно открыта, на пороге стояла круглолицая белокурая женщина, одетая в длинное платье-балахон, ярко-лиловое, с желтыми бабочками на животе и груди, и тщательно, как-то по-немецки завитая. В одном щербатовском доме Андрей видел шикарную картину, которую с почтением называли трофейной, на ней фиалковыми красками была изображена точно такая же блондинка, с неотвязной нежностью глядящая на своего старобразного малыша. От этой, как и от той, исходило сияние. Мама Люда в своем голубом крепдешинном платье, изрядно помявшемся и пропотевшем насквозь, с лоснящимся, взмыленным лицом на последних ступеньках замедлила шаг и стала торопливо обираться. Андрей, равнодушный к красивым взрослым женщинам, стал зачем-то раскатывать рукава своей рубахи. Иван Петрович, если судить по выражению его лица, испытывал желание подтянуть галстук, но руки его были заняты дочкой, и он лишь подвигал подбородком и поверте головой.

— Здра-авствуйте, гости дорогие! — пропела блондинка.— Мы вас с балкона высмотрели. Видим, идут! С прибытием вас, проходите в наши **апартаменты!**

Аниканова была в меру фальшива и в меру возбуждена, только глаза у нее, большие, остановившиеся, с расширенными зрачками, неестественно блестели. У нее был странный круглый нос с круглыми ноздрями, очень глупый нос, в девичестве он многим, наверно, казался очаровательным.

Апартаментами щербатовцев уже нельзя было удивить, но приглашение, сделанное столь торжественно, обязывало к соответствующей реакции, и Людмила, остановившись в центре прихожей, прикинулась, что потрясена.

— Дворец! — замирающим голосом проговорила она. — Ну просто дворец!

Холл в этой квартире обставлен был деревянной дачной мебелью с плетеными сиденьями и спинками, на стенах висели резные зубастые маски, у одной за клык зацепился обрывок выцветшего новогоднего серпантина. Какою-то скорбью повеяло от этой блекло-розовой бумажной полоски...

Лицедейство мамы Люды, которое не обмануло бы даже корову, совершенно удовлетворило хозяйку: именно такой реакции Аниканова и ждала.

— Да, вот так! — с бездумной гордостью сказала она. — В Союзе такой квартиры у нас с вами нет и не будет.

Тут из внутренних комнат шало, как собачонка, мотая головой, выбежала кудлатая девочка Настиных лет, такая же круглолицая и беленькая, как мать, и принялась скакать вокруг гостей:

— А мне что принесли, а мне?

Мама Люда вручила ей коробку конфет, девчонка села на пол, тут же распотрошила коробку и набила рот шоколадом.

— Василий Семеныч! — крикнула в глубь квартиры хозяйка. — Убери свою наглую дочь!

— Иди ты в баню, — жуя, сказала малышка.

Аниканова взглянула на гостей и звонко засмеялась.

— Ребенок, — сказала она, как будто это что-нибудь объясняло. — Иришка ее зовут. А меня зовите просто Валентина.

Из бокового коридорчика вышел долговязый и странно пузатый человек с лысой яйцевидной головой и длинным мокрым носом, он был в женском переднике с оборками и на ходу вытирал об этот передник руки.

— Я ж при исполнении, коша, — пробасил он. — У меня масло горит! Тюрины церемонно представились.

— Это я ужинаю, — повернув к Насте перепачканное шоколадом лицо, деловито объяснила Иришка. — Сейчас сядут пьянствовать, а мы с тобой будем играть. Все люди — предатели.

Василий Семенович и Валентина дружно захохотали, как будто дочка сказала что-то необычайно остроумное. Тюрины-старшие им растерянно вторили.

— Ну, пойдемте за мной, — сказала, наконец, хозяйка. — Покажу вам квартиру, а то еще заблудитесь.

В чем Валентине нельзя было отказать, так это в словоохотливости.

Идя по коридорам и коридорчикам, из комнаты в комнату, она упоенно, безудержно хвасталась, даже не утруждая себя обернуться и поглядеть, слушают ее или нет.

— Три туалета у нас, две ваннные комнаты. Спальных — две, у мужа — отдельный кабинет, у меня — музыкальная комната с видом на море, пианино мы напрокат сразу, как приехали, взяли, многие на нас за это косились, но ведь я пианистка, мне руки надо в форме держать. Меня вся колония знает, я даже в посольстве давала концерт. А эта комната у нас называется «Буйная», видите — совсем пустая, как в сумасшедшем доме, хоть сдавай ее таким вот, как вы. Сюда мы Иришку запираем, когда она начинает безумствовать. Вон, все стенки изрисованы. Это она мне назло, не любит, когда мы устраиваем музыкальные вечера.

— Ну, теперь у нее будет подружка, — проговорила Людмила, несколько, впрочем, обескураженная открывшейся перед нею картиной.

Однако Аниканова ее не слушала.

— Ох, мы такие концерты давали в офисе, и с кем на пару — не поверите! С Гришкой Звягиным. Да, с Гришкой Звягиным, вот здесь, за этим самым столом он сживал, такой весь приветливый, как Пиночет. И я змею у нас в «Диди» пригрела на своей груди!.. Нет, он талантлив, даже одарен, у него память феноменальная, что говорить? Он целые куски из Достоевского наизусть мог читать. Не говоря уже о Чехове и Толстом. Гришка Звягин читает, а я ему аккомпанирую. В нужных, конечно, местах. Бал Наташи Ростовой, лермонтовский «Маскарад»... Советник от нашего дуэта прямо балдел. Один раз даже Надежда Федоровна присутствовала. В общем, была культурная жизнь! Все переменялось, увы! — с тех пор, как Гришка стал Злыднем. Я его теперь только так называю. У, это страшный человек! Как он возник, как он возник! Весь в черном дыму, словно джинн из бутылки, неузнаваем стал на другой же день. Свою подрывную работу он целый год проводил, он и с посольством, и с советником поладил, и даже Володичку Матвеева переманил. Володичка — вы не представляете, это такая нежная, робкая, чувствительная душа, а голос какой щемящий, лирический тенор, как у Пищаева, знаете? «В сиянье ночи лу-ун-ной я плачу и пою...» О, как он пел, как он пел! И что же? Куда все это девалось? Теперь он у Злыдня идеолог, отчетные доклады сочиняет. Чинуша, сухарь, едва здоровадается... Нет, измена искусству даром не проходит... А это наша столовая. Ну как, ничего я вам стол собрала? Хай класс, по vyšшему разряду вас принимаем. За этим столом, между прочим, сам товарищ Букреев сидел.

— Спасибо вам, — растроганно сказала Людмила и моргнула Ивану Петровичу, чтобы он шел к хозяину на кухню, откуда раздавалось адское шипение масла и тянуло горелыми пирожками.

Скрестив на своей пышной желто-лиловой груди руки и милостиво улыбаясь, Аниканова отступила в сторону. Стол овальной формы, загромождавший почти всю комнату, был покрыт вместо скатерти простыней и поражал главным образом своими размерами, потому что сервирован он был более чем убого: разноразличные чайные блюда вместо тарелок,

гнутые алюминиевые вилки, ножей всего три — один кухонный, другой перочинный, третий истинно столовый, даже мельхиоровый; взамен рюмок и бокалов — тонкостенные и граненые стаканы, из одного совсем недавно были вынуты зубные щетки. Да и снедь оказалась скромна: большую часть ее составляли отечественные консервы. Украшением стола была миска с чем-то, напоминающим мясной гуляш. Город Щербатов при невысоком качестве жизни славился хлебосольством и пристрастием к хорошей посуде, ни одна щербатовская хозяйка не посадила бы гостей за такой стол.

Но Валентина, похоже, никакого убожества не замечала. Она с гордостью оглядывала праздничное великолепие и, едва дослушав слова изумления и благодарности, которые нашла в себе силы пролепетать мама Люда, сказала:

— Вот так. Живем по-людски. Даже мясо на столе держим. Хотела я студень затеять с солеными лимончиками, да лимончиков на базаре что-то не стало. Пойдемте, Людочка, я вам покажу свои припасы. И картошечка есть, и лучок, и бутылочки из дипшопа имеем: Жалко, муж не сумел себя отстоять. Вам, наверно, напели уже про нас, наплели... Люди такие изменники!

И, не слушая протестов мамы Люды, тетя Валя повела ее в кладовку.

Андрею было скучно ходить по этому безумному дому, и он вернулся в прихожую. Девочки и в самом деле играли, ползая по полу. Игрушек у Иришки никаких не имелось, точнее, ее игрушками были пробочки, жестяные баночки из-под напитков и разнообразные сигаретные коробки. Играла Иришка азартно и очень агрессивно.

— Ну что ты за идиотка такая? — кипятилась она. — Я же тебе русским языком говорю: «Данхилл» — твой, а «Ротманс» — мой. Ну, который «Интернэйшенел», синенький с золотом, ты что с ветки свалилась? Ох, и тундру присылают, прямо мочи нет!

Настя молчала: ей было неинтересно играть в коробочки и хотелось спать. Бесцельно переставляя Иришкины игрушки, она вопросительно поглядывала на брата: почему я должна все это терпеть? Почему ты не заберешь меня куда-нибудь?

Андрей и сам устал: при одной мысли о том, что еще сегодня на рассвете они были в Москве, затылок сводило судорогой. Он сидел в плетеном кресле, вытянув во всю длину ноги, и старался ни о чем не думать.

Взрослые в столовой гремели стульями, рассаживались, про детей никто не вспоминал: видимо, так было заведено в этом доме. Собственно, Андрей и не любил смотреть, как родители бражничают: хотя, надо отдать им должное, это случалось чрезвычайно редко, но все же случалось. Отец, подвыпив, становился зычногласым и настойчиво требовал, чтобы его слушали, а мама Люда начинала кручиниться, и доходило до слез. Ужинать Андрею совсем не хотелось, а голос у Валентины Аникановой был такой пронзительный и звонкий, что в холле и так было слышно каждое ее слово.

— Горошук? О, это страшный человек! В Союзе, я слышала, в

шесть кулаков его бьют: жена, тесть и теща. Ни дня без строчки. Пьют вместе, а как напьются — начинают бить Горощука. Ха-ха-ха! Тесть у него — генерал, он и командировку им сделал, и квартиру, и дачу... Нет, у меня в руках Игорек был послушным мальчиком. Я шлифовала его душу, его поэтический талант, но с тех пор как Злыдень прокрался к власти, вся моя работа пошла насмарку. О, это страшный человек, он, как анчар, все отравляет вокруг себя своим смертоносным дыханием...

«В школе пение преподает», — вяло подумал Андрей.

— Ростислав Ильич? О, это страшный человек! Я его зову «Ростик-Детский», ха-ха-ха! Строит из себя независимого, а почему? Потому что его Катенька была у Букреева переводчица, переводила рога на копыта, об этом вся колония знает. Как говорится, жена спит — у мужа служба идет.

— Что-то ты, коша, разыгралась, — добродушно остановил жену Василий Семенович. — Хватит с нас твоих бабьих сплетен, надо о делах потолковать. Я, бывало, усажу новоприбывшего вот сюда, за этот стол, и гляжу ему в глаза, ни о чем не спрашивая, в душу ему заглянуть пытаюсь, что за человек, каким идеалом живет. Я человеку замыкаться на себе не давал. Как не вижу кого три дня — прямо сердце не на месте: чувствую, что там зреет проступок, набухает гнойник. Вызываю к себе человека — и часа полтора с ним беседую. Многих этим от высылки спас. Был один любитель **лифтоф**, в смысле — передвижения на попутных. Мы, значит, на собрание по жару — ножками, а он подъезжает на «мерседесе» с кондиционером! И кто там, в этом «мерседесе», за рулем — одному богу известно. Ну, я с ним четыре часа беседовал. После в ноги мне падал. «Душу ты мне спас, Василий Семенович, не анкету, а душу!»

Видимо, хмель уже взял свое, потому что беседа в столовой расплелась надвое. Мужчины толковали о своем, а Валентина настойчиво внушала маме Люде, что она довольна жизнью.

— Да брось ты мне это все! — забыв о своей музыкальности, кричала она. — Отлично я живу! С Нового года, как мы в отставку ушли. Сижу себе дома, музицирую для себя. И с ужасом — да, с ужасом, не спорь ты со мной! — с ужасом вспоминаю то время, когда мы руководили группой. Что ни день — то хрипоты. Нет, конечно, я не ханжа, отрицать не стану, что были и преимущества. На представительском складе бери, что душа пожелает. Тушенку, сайру, московские сигареты, даже крупу гречневую — о чем разговор?

Мама Люда заговорила, но Анниканова ее оборвала.

— Образование! — вскричала она запальчиво. — Ну кого интересует твой диплом? Это же аппарат, пойми! Ап-па-рат! Там все построено на человеческом доверии!

Тут тете Вале пришлось замолчать, потому что мужчины заспорили: отец уже перебрал.

— Не верю и никогда не поверю! — шумел он, стуча по столу кулаком. — Что ты мне, как доктор Слава, какие-то сказки рассказываешь? «За это высылают, за то могут выслать...» Глупости! Меня работать

сюда направили, по работе и будут судить! Деньги какие на одну до рогу затрачены! Кто это вам позволит высылать меня по своей прихоти да за государственный счет?

— Ну, ну, — гудел Аниканов, — не горячись, тебя пока никто не высылает. Не за что еще, погоди.

— О чем шумите? — спросила его Валентина.

— Да вот, — сказал Василий Семенович, — сомневается Ваня, что советник может любого из нас в двадцать четыре часа...

— Ой, что вы... — понизив голос, страшным шепотом произнесла Аниканова. — Ой, что вы, сколько раз уже было! Семейные ссоры, ненужные встречи... да мало ли что!

Слушать эту пьяную чушь было невыносимо, и, чтобы отвлечься, Андрей предложил девочкам почитать вслух какую-нибудь книжку. Иришка с готовностью притащила три книжки-раскладушки: «Теремок», «Колобок» и «Курочку Рябу».

— И это все? — удивился Андрей.

Ничего не ответив, Иришка убежала и вернулась с целым ворохом растрепанных каталогов. Но там были одни лишь фотографии женщин, которые, широко расставив ноги и целомудренно улыбаясь, демонстрировали всяческую одежду, от лифчиков до манто. Сердце у Андрея встрепенулось, когда он увидел двух манекенщиц, немолодую и юную, в желтом с ирисами. Все странички, и эта в том числе, были зверски исцирканы, особенно досталось тем частям тел, которые располагаются ниже талии.

— Это у них понос, — объяснила Иришка.

А из столовой донеслись бравурные аккорды фортепьяно, и гости переместились в музыкальный отсек.

— «В бананово-лимонном Сингапуре, где на базаре нету ни черта, — пела Валентина своим резким, оглушительным голосом, — и где не купишь ты для хачапури собачьего хвоста...»

Дальше шла какая-то самодельная несуразица, и после непродолжительного совещания хор взрослых подхватил припев:

— «Да-да! Да-да-да! Мы не зря приехали сюда, сюда!»

Пение продолжалось целую вечность... Наконец взрослые утомились и вышли в прихожую, Андрей с облегчением подумал, что все позади, но не тут-то было: Валентина вынесла и разложила на спинках кресел разноцветные балахоны, расписанные мотыльками, попугаями и цыплятами. Начались охи, ахи, восторги.

— Ой, Валюшечка, миленькая! — умиляясь и кручинясь, по-разному складывая ручки — то прижимая их к груди, то ломая пальцы, говорила мама Люда, и конца этому театру не было видно. — Ты мне покажешь, где они продаются? Валечка, золотко, покажешь? Ой, хочу! Ой, хочу!

Разумеется, это была одна комедия, поскольку даже представить себе было трудно, на что эти гигантские балахоны могут понадобиться малорослой маме Люде.

— О, коль желание быть приятной действует над чувствами жен! — звучно произнес Иван Петрович, и хозяева с недоумением на него

посмотрели: это, конечно же, был князь Михайла Михайлович, но слишком многое нужно было тут объяснять.

Наконец распрощались. Иришка, запертая в «буйной комнате», рыдала и сквернословила, Анастасия мирно, как в люльке, спала у отца на руках. Тетя Валя что-то громко кричала им сверху, с балкона, но нельзя было ничего разобрать: поулыбались в ответ, помахали руками — и побрели под синеперыми деревьями, опасливо ступая на опавшей листве. Мама Люда споткнулась на тротуарной выбоине, пришлось Андрею взять ее под руку. От мамы Люды пахло распутством, она шаловливо, как девочка, взглянула снизу вверх на высокорослого сына и прижала локтем его руку к своему мяконькому бочку.

— Ну-ну, без маразма, — сказал Андрей. — И если вы и дальше собираетесь так жить, то отправляйте нас с Настасьей к тете Наташе. Это не жизнь, а скотство, доложу я вам.

— Сынулечка, никогда! — залепетала мама. — Мы больше не будем!

— Мы только приехали, — виновато проговорил отец. — Надо ж было с кем-то подружиться.

Андрей не стал возражать.

— Ладно, давайте ключ, — буркнул он. — И чтоб ни звука, когда войдете в прихожую! Ясно?

В квартиру вошли на цыпочках. Хозяин затаился где-то в глубинах своих многочисленных комнат, свет был всюду погашен, но чувствовалось, что Матвеев не спит. Андрей представил себе, как он лежит на кровати с открытыми глазами и, блестя приплюснутым носом и выпуклым лбом, беззвучно поет: «В сиянье ночи лу-унной...»

9

Утром Андрей проснулся от чужеземной переключки автомобильных гудков и не сразу сообразил, где находится. Сквозь густую металлическую сетку окошка вязко и желто протекала теплынь. Он лежал поверх скомканных простыней непокрытый, было жарко, как летом в деревне, только мух не хватало. На соседней кровати, тоже в одних трусах, по-домашнему уютно сидела Анастасия, она перебирала свои детские книжки.

Несколько смутившись, Андрей прикрыл глаза и попытался вспомнить, не снилась ли ему сегодня ночью красная палатка, это был тяжкий, постыдный сон, который вот уже много месяцев его донимал. Но ничего как будто не снилось: сплошная черная яма, косматый разрыв между вчера и сегодня. Видимо, вчера он был измочален, а на такие сновидения требуются физические силы.

Красную палатку Андрей видел наяву прошлым летом, и не сказать, чтоб воспоминание о ней было мучительным, скорее наоборот, но вот сновидения на этой основе возникали безрадостные и неуправляемые. Очень противно было то, что он видел палатку не один. Даже так: долговязый приятель его, которого все звали в городе «Керя», подмигивая и мелко смеясь, поманил Андрея пальцем: «Гля, че делают! Во автотуристы че вытворяют! Москва...» Сам Андрей, если б увидел пер-

вый, ни за что бы не позвал. Этот самый Керя не давал проходу ни одной девке от тринадцати до тридцати, все-то ему нужно было схватить, сграбастать, притиснуть, и они этому не слишком противились. Керя так и звал с собой: «Айда девок ловить». У него было узкое лошадиное лицо с впалыми щеками и длинной челкой, косо падавшей на дикий, словно бы бельмастый глаз, товарищ он был незаменимый, потому что ему вкусно было жить, и он хотел, чтобы все вокруг тоже всхрапывало от удовольствия...

Дело было ранним утром, на лугу у Ченцов, куда они с Керей пришли проверять поставушки. Поставушками в пригородах Щербатова называли нехитрую снасть: бечевка или прочная леска, привязанная к ракитовому кусту, на конце — большой крючок, лучше тройник, а на этот крючок нацеплен за губу лягушонок. Забрасывается поставушка (лягушат обыкновенно ловят у самой реки, по дороге), а уж на рассвете надо успеть ее вытащить, потому что, сколько ни маскируй, если попадется голавль — он так пригнет куст, так его будет трепать, что слепой, и тот не пройдет мимо. Ченцовские чужих поставушек не трогали, как будто заклятье на них было (или не позволяла рыбацкая честь), а вот свой брат, щербатовский, прибывший на автобусе, мог и пользоваться, снять чужую добычу с чужого крючка, да и сам крючок унести, и ничего не докажешь.

Откажись он идти вслед за Керей и заглядывать в эту чужую красную пещеру, жил бы просто, как жил. А теперь смотрел на встречаемых молодых женщин и не мог себя заставить не думать: «И эта так же, и эта будет так, а эта — уже... может, даже вчера». Приходилось прятать глаза: они каким-то образом чувствовали и глядели в ответ вызывающе или лукаво. Не конфузилась ни одна, а краснел и стеснялся именно он, ни в чем не повинный...

Между тем Настасья, даже не глядя в его сторону, почувствовала, что Батя проснулся, и, как бы продолжая прерванный разговор, сказала:

— А у меня зато книжек полный портфель и с игрушками большая сумка. А мы больше к ним не пойдем, правда, Батя?

Видно, безумная Иришка произвела на нее неизгладимое впечатление.

— Конечно, не пойдем, — отозвался Андрей.

Он вскочил, подбежал к балконной двери и настежь ее распахнул.

— Ух ты! — завистливо произнес он.

Для декорации, сколоченной наспех, к прибытию Эндрю Флейма город был выстроен уж слишком добротно. Небоскребы тесно громоздились вокруг, вознося в ярко-синее небо свои пестро раскрашенные балконы, галереи, террасы и лоджии. Прозрачно-зеленые зонтики акаций, усыпанные крупными сиренево-голубыми цветами, пошевеливались от жаркого ветра у самых его ног.

За спиной его гулко хлопнула дверь, он обернулся. Из ванной вышла мама Люда, она была в красном купальнике.

— Жарко, Андрюшенька! — как бы оправдываясь, сказала она. — Воду кипячу для питья.

— А где отец?

— Полчаса как на службу уехал. Все хорошо, сыночек. Только вот... на базар бы сходить, а я, безъязычная, боюсь. На тебя вся надежда. Мальчик насупился от важности.

— Какой разговор?

Он себе нравился сегодня с утра: бодрый, веселый, уверенный, лишних вопросов не задает, только по делу, истинный Эндрю Флейм в голубых отечественных джинсах с бордовой прострочкой... Только бы отучиться краснеть.

Матвеев, босой и полуголый, в коротких штанах с бахромой, стоял на кухне возле мраморного разделочного столика и ел из кастрюли холодную гречневую кашу, запивая ее кока-колой. Лицо у него было умиротворенное и даже симпатичное. Черт его знает, подумал Андрей, может, и в самом деле чуткий человек.

— А, квартиранты! — проговорил Матвеев жуя. — Молодцы, вчера тихо вернулись. На вылазку? В добрый час.

— Вы не подскажете, как на рынок пройти? — спросила Людмила.

— Подскажу, отчего же. Вон, видите в конце проспекта ржавый купол? Это и есть рынок. Только не купите вы там ничего: поздно встали...

Вдруг Матвеев насторожился, потянул носом воздух.

— Балкон открывали? А кто разрешил? — гневно спросил он. — Тараканов напустить захотели? Выселю к чертовой матери!

И, круто повернувшись, ушел к себе.

...Здание рынка оказалось похожим на подвергшийся бомбардировке вокзал: внушительный, с колоннами вестибюль, за ним — металлический остов высокого купола крыши. Крыша эта некогда была, конечно, застеклена, а теперь стекла побились, ячейки кое-где были забраны фанерой и целлофаном, провисшим от застоялой дождевой воды. Под этой символической защитой от солнца и дождя стояли ряды облицованных мрамором прилавков с выдолбленными в них лоточками и желобками: для мелочи, догадался Андрей, и для стока крови и сока. Но стекать было нечему, прилавки были пусты и сухи, сонмы синих мух реяли над головой совершенно бесцельно, да еще тараканы с фырчаньем перепархивали с одного стола на другой. Кое-где среди голого мрамора сидели унылые торговки в цветастых цыганочьих платьях. Какие-то корзины под ногами у них стояли, но, перехватив любопытствующий взгляд покупателя, торговки начинали озабоченно расправлять свои широкие подола, прикрывая ими товар. На прилавках для видимости лежали жухлые капустные листья и пучки свекольной ботвы.

Мама Люда была расстроена:

— Одно видилье, — пробормотала она, озираясь, — одно видилье!

Несколько оживленное было в рыбных рядах, точнее — в тех, от которых пахло рыбой. Там на мраморных столах лежали горы ракушек, по виду наших речных, издыхающих, с высунутой требухой, и других,

плотно замкнутых, очень мелких и, должно быть, несокрушимо твердых, торговки заботливо поливали их водой. Возле одного прилавка даже собралась небольшая очередь местных: там ровным слоем рассыпаны были мокрые полые сучки, внутри них шевелились толстые светлые гусеницы, точно как наши ручейники. Андрей не удержался от искушения, показал их сестренке, Настя заволновалась:

— Ой, что это? Батя, зачем их торгуют?

— Чтобы кушать, — безжалостно объяснил Андрей.

— А как их кушают?

— Очень просто. Высасывают, как из косточек мозг.

— Живых? — с ужасом прошептала Настя и захлопнула ладошками рот.

— Будешь ты мне девку дразнить? — рассердилась мама Люда и хотела стукнуть Андрея по загорбку, но удержалась, потому что вспомнила, где находится и зачем пришла.

Она присмотрела торговку поприветливее, искательно улыбнулась ей, та замахала руками: нет, мол, нет у меня ничего, проходите мимо. Однако маму Люду это не смутило.

— Ну, Андрюша, будут у нас сейчас витаминчики. Смотри, как дела за границей делаются.

Она взяла Настасью за плечо, выдвинула ее вперед и сказала торговке:

— Вот ребенок маленький, фруктов хочет, фрукты ему нужны. То есть ей, девочка она, Анастасия зовут.

— Мама, — покраснев, гневно сказал Андрей, — ты соображаешь? Она ни слова не понимает!

— Понимает, молчи, — бросила ему через плечо мама Люда. — А это старший мой, такой грубиян, не слушается ничего, дерзит бесконечно. Но тоже фрукты любит. Может, есть у вас для нас что-нибудь? Поищите, пожалуйста.

Торговка выслушала очень внимательно и серьезно, потом выставила вперед розовую ладонь и, проговорив «Уэйт э литл», полезла под прилавок.

— Она говорит: «Подождите немного», — прервал Андрей.

— А то я без тебя не знаю, — ответила мама Люда.

Торговка поднялась и молча протянула ей пучок белой редиски.

— Шейс-дейс, — сказала она, и мама Люда поняла с такой легкостью, как будто всю жизнь разговаривала на ломаном русском.

— Шестьдесят копеек? — переспросила она. — Смотри-ка, недорого. И витаминчики.

Торговка вновь нырнула под прилавок и вытащила связку красноватой кустистой травы.

— Щавель надо? — спросила она. — Щавель, кисло, мадам! Харчо, мадам, харчо!

Людмила с недоверием отщипнула листок, пожевала, сплюнула.

— И правда, хорошо. Вот вам и суп, и салат.

Расплатившись, мама Люда устремилась в дальние ряды, занавешенные соломенными циновками. Боже мой, чего тут только не было:

коврики, корзиночки, коробочки, кепочки, даже кресла и журнальные столики, все искусно сплетенное из соломки и тростника. Глаза у мамы Люды разгорелись.

— Нет, нет, не сейчас, — бормотала она, жадно ощупывая **плетености** и как будто уговаривая себя, — перед отпуском накупим. Будут сувениры, всему Щербатову хватит!

Однако возбуждение это быстро прошло: соломой ведь сыт не будешь...

Вышли на улицу и побрели восвояси. Солнце палило, как безумное, все вокруг стало душным, пыльным, вонючим. Плиты тротуара дыбились под ногами, грязная бахрама полотняных навесов неприятно задевала по лицу, из тусклых витрин так и лезли в глаза некрасивые и ненужные вещи: покоробившиеся парусиновые чемоданы, шерстяные шапки с наушниками, пластмассовые сандалеты с блестками, канцелярские дыроколы циклопических размеров, деревянные вазы и бумажные цветы — очень похожие на те, что росли вокруг офиса.

— Хлебушка бы купить, — сказала на ходу мама Люда. — Где у них тут хлебные магазины?

Забрели в проходной дворик между небоскребами, мощный мрамором, тенистый, даже прохладный. Посередине должен был журчать фонтан, в овальном бассейне стояла зеленая вода, в уютных нишах расположены были маленькие магазинчики. Продавцы в синих безрукавках, все как один смуглолицые и черноусые, с любопытством смотрели на своих потенциальных клиентов, не проявляя ни малейшего желания предложить им свой товар. Да и предлагать было нечего: полки в нишах уставлены были литровыми бутылками с сиропом таких сумасшедше-ядовитых цветов, что при одном только взгляде на них пробирала икота. Одна из лавчонок называлась «Жаклин», так развешены были женские пояса на шнуровке, которые мама Люда брезгливо назвала «грациями». Пояса эти сшиты были как будто бы из брезента, трудно было представить себе, как можно их надевать на нежное женское тело — тем более при такой жаре. Охотников покупать эту сбрую не находилось. Между тем торговца это, по всей видимости, не волновало: сидя в глубине ниши, он вел неторопливый разговор с таким же жгучим брюнетом в синей безрукавке, продававшим в соседней лавке очки, и со спокойным ожиданием поглядывал поверх прилавка на остановившихся поблизости Тюриных. По всему видно было, что душевный его покой и достаток не имеют ничего общего с заскорузлыми «грациями» и что если мама Люда попросит его показать хоть одну, он, пожалуй, оскорбится или расценит это как дикое извращение.

— Спроси у него, где тут хлеб продают, — сказала мама Люда.

Как это у женщин все просто. Возьми и спроси. А если это первый контакт в истории с нашим кротким и трудолюбивым народом? К нему нужно загодя готовиться, выверять и взвешивать каждое слово, чтобы не стыдиться потом.

Но делать нечего: мальчик подошел к прилавку, дождался, когда на него обратят внимание (ох, не так он все это себе представлял!) и, костенея от напряжения, выполнил просьбу матери.

Усатый продавец придвинулся к Андрею, перегнувшись через прилавок и, издевательски приложив руку к уху и скривив рот, громко переспросил:

— Сорри?

А когда Андрей, сделавшись сразу маленьким и ушастым, повторил свой вопрос, продавец демонстративно повернулся к своему приятелю и небрежно вытряхнул сигарету из красивой желто-синей пачки цифрой «555». При этом оба усача дружно захохотали.

Это было горше обиды и разочарования: это был крах. Похоже, услугах Эндрю Флейма здесь никто не нуждался. Жизнь эта шла сама по себе — независимо от явления мальчика из Щербатова, и не то что вмешаться в нее, даже просто вникнуть не представлялось возможным. Почему эти люди смеются? Чем живут? Откуда у них сигареты? А часы у каждого массивные, как бандитские кастеты, на металлических болтающихся свободно браслетах, зачем они и откуда взялись? А ход истории — слышали они о нем хоть что-нибудь? Или, может быть, у них своя история, текущая сама по себе и не впадающая в нашу? Но примириться с этим мальчик не мог.

— Ну, пошли, черт с ними, — сказала мать. — Отдохнули — и на том спасибо.

10

Иван Петрович привез с работы очень странные вести. Выяснилось, что нагрузки для него нет и не предвидится: прием в университет прекращен, старшекурсники вывезены на перевоспитание в «зеленые зоны», занятия ведутся только на втором и третьем курсе, а там всю математику подмяли под себя голландцы, и ни одного часа они никому не отдают.

— Ты представляешь, Милочка? — с горестным недоумением рассказывал Иван Петрович. — Предшественник мой, Сивцов, десять месяцев сидел без нагрузки, с тем и уехал. Я понимаю, Москва об этом может и не знать, но здесь-то, здесь, на месте, никто мне ни единого слова... Советник все о правилах поведения толковал. Звягин — про кляузы, Аниканов на высылках помешался, а про нагрузку — ни слова, как будто это пустяк... Весь кампус проволокой колючей оцеплен, аудитории опечатаны, по коридорам физмата автоматчики ходят... Какой-то сумасшедший дом, а не прогрессивный режим.

— А наших ты видел? — осторожно спросила Людмила.

— Ну, как же! Все на месте, кроме Матвеева, но и Матвеев позже подъехал на офисной машине... Все сидят по своим кабинетам, на дверях таблички с фамилиями...

— А тебе кабинет выделили?

Вопрос мамы Люды, показавшийся Андрею бессмысленным, отцом был воспринят с непонятым возбуждением.

— В том-то и дело, Милочка! — вскричал отец. — Бывший сивцовский! И ключи мне завхоз сразу выдал, и табличку на двери заменил. Буквы такие пластиковые, на клею...

— Хороший кабинет? — настойчиво допытывалась Людмила.

— Отличный, одноместный, — успокаиваясь, с детской гордостью ответил Иван Петрович. — Кондиционер, письменный стол металлический, телефон, даже сейф, все, как надо.

— Ну, и чего ты еще хочешь? — спросила Людмила. — Пускай они ищут тебе нагрузку, а ты не будь дурачком, закройся и сиди.

Эти слова ее Иван Петрович пропустил мимо ушей.

— И вот еще что странно, — сказал он, помолчав. — В отчетах Сивцов указывает, что наворотил здесь гору разработок, контрольных текстов, программ, а ничего этого нету, и стол пустой, и шкафы. Одни апэзовские брошюры.

Такие тонкости Людмилу не интересовали.

— А Звягин что? — спросила она.

Иван Петрович махнул рукой.

— Что Звягин? Что может Звягин? Как я понимаю, он сам без нагрузки сидит. Сводил меня к декану, тоже, между прочим, голландцу... В приемной был робкий такой, с секретаршей декана чуть ли не на цыпочках, закрыл свой кабинет и потопал домой.

Андрей и Настя сидели рядышком на кровати и слушали.

— Значит, мы скоро уедем? — с надеждой спросила сестренка.

— Типун тебе на язык, — сердито ответил ей Андрей. — Нам нельзя уезжать, это будет скандал.

— А почему?

— А потому, что не лезь во взрослые дела. Бери пример со своего старшего брата.

— Ладно, — сказал отец, — не надо печалиться, вся жизнь впереди, как говорит Григорий Николаевич. Есть и хорошие новости, ребята: «Смоленск»-то наш прилетел!

— А ты откуда знаешь? — ахнула мама Люда.

— Да уж знаю! — младенчески улыбаясь во весь рот (улыбка эта казалась почему-то беззубой), ответил отец. — Мы, собственно, и вчера могли его забрать, это Горошук поленился. Я сам в аэропорт позвонил — оттуда, из кампуса, из своего кабинета, и мне очень любезно ответили. Только надо срочно за ним ехать, а то отправят его обратно в Москву, дело нехитрое.

— Ой, Ванюшка, поезжай! — засуетилась Людмила. — Ну, пожалуйста!

— Легко сказать, а на чем?

— Ну, сбегай в офис, пускай помогут!

— Да был я там, постоял у калитки. Шофер наш, русский парень, брудастый такой, с бакенбардами, тот вообще на меня, как на шизофреника, посмотрел. Вдруг вижу — Букреев из машины выходит, и я убежал оттуда, как заяц.

— А он тебя не видел? — встревоженно спросила мама Люда. — Среди рабочего дня...

— В том-то и дело. Но, с другой стороны, если и ехать, то только сейчас, покамест наши все в кампусе...

Отец присел, снова встал, походил по комнате и решительно, как

совершают второстепенные действия все не сильные характером люди снял со спинки стула свой пиджак.

— Ладно, поеду городским транспортом, — сказал он. — А в аэропорту что-нибудь придумаю. Что-то я, Милочка, поверил в свой язык.

И он снова младенчески улыбнулся.

— Умница ты мой! — расчувствовалась Людмила. — Давай я тебя покормлю.

— После, Милочка, после. Рабочий день здесь рано кончают.

— Ну возьми с собой Андриюшу. Два мужика — сила. А я за это время вам такой обед приготовлю! Не то что у Аникановых.

Иван Петрович вопросительно посмотрел на сына.

— А что? Я всегда, — пожав плечами, сказал Андрей.

Он не разделял оптимизма отца в отношении языка и не верил, что отец сумел что-то выяснить по телефону: это ведь не бланк заполнять. Но поехать в аэропорт и взглянуть повнимательнее на эту меднотрубчатую карту ему очень хотелось: что такое там не в порядке? И куда они вообще прилетели? Может быть, в какой-нибудь параллельный мир?

На залитой солнцем площади среди клумб, полыхавших красными каннами, отец и сын сели на скамеечку под шиферным навесом и стали ждать. Местные с веселым любопытством поглядывали на них издали. Наверное, не каждый день видели европейцев, ждущих городского автобуса.

Всякий раз, оставаясь с отцом наедине, Андрей испытывал чувство скованности и неловкости. Отец был так недостижимо умен и так беспробудно занят, что с ним не о чем было говорить, любые вопросы заранее казались натужными и глупыми. И отец тоже тяготился молчанием, но сделать ничего не мог. Очень редко им удавалось по-человечески разговориться. Последний раз это было в позапрошлом году, в августе, на Миловидовском озере. Как-то так случилось, что отец, не очень любивший загородные выезды, согласился поехать с Андреем на пляжи, куда с утра потянулся весь город, и они нашли в камышах плоскодонку с одним веслом и поплыли по ярко-синей воде. Гулкий стук мелких волн о сухие борта, теплая светло-серая, вся в веселых трещинках древесина, молодой, беззаботный отец в рубашке с расстегнутым, как сейчас, воротом... На голове у него был полотняный белый картуз, в таких шеголяли герои довоенных кинокомедий. Заплыли далеко, к бывшим кожевенным заводам, собирали зеленую тину, сушили ее, складывая на бортах, и совершенно серьезно обсуждали, какое применение этому волокну можно найти в народном хозяйстве... Со встречных лодок спрашивали, что за заготовки делает Иван Петрович, а он отвечал: «Морскую корову собираемся завести». Сочетание солнечного тепла и озерной прохлады вызывало особый, пронзительно-тонкий озноб, небо шумным казалось от множества быстро плывущих крупных августовских облаков, и было во всем этом что-то еще, простое и печальное, от чего даже сейчас сладко болела душа. словно сговорившись, ни сын, ни отец никогда не вспоминали вслух про этот незабы-

ваемый день. «А здорово мы тогда, помнишь?..» — даже мысль о том, что можно это произнести, вызывала у мальчика отвращение.

— Да, вот так, брат, — сказал отец, перехватив его беспокойный взгляд. — Ехали, ехали — и приехали...

Он как будто боялся разговаривать с сыном, как будто бы ждал, что с него будет спрошено, и даже голос подал первым, вопреки обыкновению, чтобы упредить вопрос: «Папа, так как же это все у нас получилось?» Нет, Андрей не собирался об этом спрашивать: пусть останется надежда, что отец и сам толком не знает — и не хочет знать.

— Как-то странно все, — глядя в сторону, проговорил Андрей. — Непонятно, зачем нас прислали...

— Та, испорченный телефон, — ответил отец и тихонько засмеялся. — Москва уверена, что мы тут нужны, потому что такая информация идет от советника. Советник считает, что на кампусе кипит работа, потому что в этом его заверяет Звягин. А Звягин ждет и надеется, что все образуется... обще ко славе государевой и ко блаженству народному.

— А зарплату тебе кто будет платить?

— Наша сторона. Мы же здесь в порядке помощи.

— Ну, и что ты собираешься делать? — спросил, помолчав, Андрей. — Есть у тебя какой-нибудь выход?

Вопрос прозвучал как-то очень сурово, и, почувствовав это, Андрей смутился. Но отец ответил серьезно и просто:

— Есть, сынок. Даже целых три.

— Целых три? — переспросил Андрей.

— Именно. Первый выход — сидеть тише мыши и делать вид, что занят я выше головы. Но этого я, к сожалению, не умею.

— Не умеешь?

— Не умею. — Отец снова засмеялся и покачал головой. — Вот я и думаю: не будет нам тут добра. Не поворотить ли нам оглобли, пока не поздно? Пойти к советнику и сказать: так и так...

— Да ты что? — испугался Андрей. — Это ж позор!

— То-то и оно, — сказал отец, подумав. — То-то и оно, что позор. Значит, остается третий выход: выбивать нагрузку и честно пахать. Ничего другого я не могу.

— А выбить... сможешь? — осторожно спросил Андрей.

— Я постараюсь.

Он хорошо это сказал, без хвастовства («Да уж я уж постараюсь, конечно!») и без всяких там обиняков («Постараюсь, но ... сам понимаешь, сынок...»). Нет, отец даже мысли не допускал, что он **недостойн**. «Господи, может быть, я вообще напрасно мучаюсь?.. Хорошо бы так». У Андрея отлегло от души, он умолк и, стараясь не смотреть на отца (чтобы он, чего доброго, не прочитал в его взгляде благодарности и любви), стал рассматривать площадь.

Внимание его привлек потрепанный тускло-зеленый пикап, стоявший у тротуарной бровки в тени, неподалеку от павильона. Кузовок пикапа был затянут брезентом, на капоте блестели крупные никелиро-

ванные буквы «Субару». О такой автомобильной марке Андрей никогда и не слышал. За рулем сидела немолодая европейка с седоватым коротко подстриженными волосами. На ней было что-то ярко-розово с широкими рукавами, половину лица закрывали такие же, как у советницы и у Кареглазки, большие радужные очки. Повернув голову сторону павильона, женщина неотрывно, испытующе и в то же время горестно, со странной улыбкой смотрела на Тюриных, у нее были загорелое, но какое-то изнуренное, по-обезьяньи мученическое лицо с глубокими морщинами на щеках. Так, наверно, смотрят на нас из иллюминаторов штурмана и пилоты летающих тарелок. Под этим упорным взглядом Андрею стало не по себе. Он хотел обратить внимание отца на эту странную особу, но не успел: подошел автобус номер семнадцать, и у его помятого сине-желтого борта неожиданно возникла толпа. Люди, сидевшие на соседних скамьях и поодаль, на траве под акациями на ступеньках подъездов, на столбах ограды, просто на корточках в тени, повскакивали и ринулись штурмовать семнадцатый номер: всем им срочно нужно было ехать в сторону аэропорта, в свои «бидонвили». Никакого ожесточения они при этом не проявляли: напротив, радостно гомонили, громко смеялись, подбадривали друг друга. Казалось, толкотня доставляет им удовольствие. Отец и сын побежали к открытой автобусной площадке вместе со всеми, их не отпихивали, кто-то даже пытался призвать людей к порядку, расступиться и дать иностранцам дорогу, но все без толку. Нужен был особый навык, и, когда автобус, тяжело скособоچась, тарахтя и извергая из прогорелой выхлопной трубы черный дым, тронулся, Иван Петрович и Андрей остались в клубах этого дыма возле опустевших скамеек. Они посмотрели друг на друга и засмеялись.

— Является, что рок наш таков, — дребезжащим голосом Михайлы Михайловича проговорил отец, — отложив все суровые следствия непросвещения и скитающей жизни полуденных народов... Как-то неудобно, понимаешь, локтями толкать. Мало их угнетали?

Но вторая попытка, минут через десять, закончилась с тем же успехом. Андрею удалось повиснуть на никелированной штанге в середине обильной человеческой грозди, шевелением и густотою напоминавшей пчелиный рой, но у Ивана Петровича с носа сшибли очки, он наклонился, разыскивая их на бетонных плитах, и Андрей, конечно же, прыгнул и поспешил ему на помощь. К счастью, очки нашлись и даже остались целы.

Тут дверца «Субару» распахнулась, и пожилая европейка (розовая рубашка ее по-разбойничьи и очень простецки была подпоясана черным кушаком, толстые ноги обтянуты пестрыми не по возрасту брючками) вылезла из кабины и направилась прямо к ним. Обута она была в пляжные шлепанцы, водить машину в такой обуви было, должно быть, очень неудобно.

— Папа, держись, — вполголоса сказал Андрей. — Затеваются провокации.

Но было поздно: старушонка уже приблизилась.

— День добрый, — сказала она на правильном русском языке с не-

сколько неуверенной искательной интонацией, улыбаясь и по-собачьи заглядывая им в глаза — снизу вверх, поскольку росточек у нее был совсем небольшой. — Не сочтите меня за назойливую, но я вижу, что вам нужно в аэропорт. Вы знаете, так у вас не получится, вы действуете слишком деликатно. Если хотите, могу вас подвезти. Мне все равно предстоит ехать в ту сторону. Я ждала мужа, но он не пришел.

«Ну, вляпались, — сказал себе Андрей. — Как по-русски чешет, белогвардейское охвостье!»

Особого страха он не испытывал, скорее это было игровое волнение: уж раз за тобою идет охота — значит, **все правильно**, просто им удалось вычислить твое переходящее «я».

— Спасибо, — застенчиво улыбаясь, проговорил Иван Петрович. — Но нам туда и обратно, багаж хотим получить.

На месте отца другой, более опытный товарищ прикинулся непонимающим: «Сорри? Мадам спикс хинди, урду? Ранш? Бат... в общем, с чего вы взяли, что мы понимаем по-русски? Ах, вы за нами давно наблюдаете? Ну и валите отсюда...»

— О, получить багаж? — деловито переспросила белогвардейка. — Он что же, сравнительно небольшой?

«Да, небольшой», — мысленно просигналил Андрей, пристально глядя на отца и пытаясь взять события под свой контроль.

— Нет, как раз большой, — словно извиняясь, проговорил Иван Петрович. — Холодильник.

— И вы рассчитываете, что достанете попутную машину в аэропорту? — настойчиво допытывалась дама.

«Нас будут ждать там друзья!» — мучительно напрягаясь, подсказал Андрей, но отец игнорировал правила шпионской игры.

— А что, — простодушно спросил Иван Петрович, — разве это так сложно?

— Сложно — не то слово, — отчеканила белогвардейка. — Вы совсем наивные люди. Пойдемте со мной.

И, повернувшись, не глядя больше на них, решительно зашагала к своему пикапу.

Иван Петрович вопросительно посмотрел на сына, тот пожал плечами.

— Мне что? — с деланным безразличием сказал он. — Это тебя предупреждали насчет **лифтов**.

Тут белогвардейка, подойдя к кабине, обернулась.

— Не бойтесь меня, пожалуйста, — сказала она. — Я не заразная, я москвичка, выросла на Переяславке...

— Мы не боимся, — ответил Иван Петрович, — просто стесняемся вас затруднять.

— Да что вы, — нервно передернулась белогвардейка, — это я должна стесняться, я же сама напросилась. Вижу — наши сидят...

«Наши»... У Андрея было чуткое ухо, и он отметил, что это «наши» прозвучало не так.

— Меня зовут Тамара, — сказала старушонка, — а вас?

— Иван, — ответил отец, с галантным академическим поклоном

пожимая ее маленькую морщинистую лапку, — а это мой сын Андрей.
— Господи, Иван, Андрей. — Белогвардейка тихо засмеялась. — Прелесть какая... Да садитесь же, садитесь. Кабина просторная у меня уместимся все втроем. После скажете, что это бог Тамару послал.

— Садись, сынок, ничего, — сказал Иван Петрович. — Или ты хочешь у окна?

Ноги у Андрея вдруг ослабли. Неужели вот так сразу, без подготовки, без предупреждения, начнут колоть психотропные препараты?

Тамара сняла очки, оглядела Андрея с головы до ног. Глаза у него тоже были обезьяньи, маленькие, черные, круглые, почти без белков и ресниц. Была она не так уж стара: во всяком случае не старше отца. И лицо у нее было даже привлекательное, этакая седая секретарша машинистка со следами былой красоты, если бы не портили его две темные вертикальные морщины по обе стороны рта.

— Надо же, как мальчик меня боится, — проговорила она. — Весело прямо взъерошился. Ты думаешь, я сотрудница ЦРУ? Ты такой важный мальчик, что нужно тебя стеречь?

— При чем тут ЦРУ? — буркнул Андрей. — Вы эмигрантка. И я вас не боюсь.

— Тогда в чем дело? — открыв в улыбке желтые зубы, спросила Тамара. — Садись, и поехали. Не загрызу же я вас, двоих мужчин.

Поглядев по сторонам, Андрей молча кивнул отцу, забрался в кабину следом за ним, захлопнул дверцу. Внутри «Субару» выглядела еще более неказисто: диванчик был весь изодран, декоративные панели сняты, ниша для приемника пустовала, и даже крышка бардачка отсутствовала.

— Согласись, — сказала Тамара, круто выворачивая руль, — согласишься, что на таких машинах агенты специальных служб не ездят. И вовсе не эмигрантка я, у меня такой же советский общегражданский паспорт, как и у твоего отца. Показать?

— Спасибо, не надо, — ответил Андрей. — Мы же вам свой не показываем.

— Однако твой папа — смелый человек, — продолжала Тамара, резкими рывками выводя машину на проспект. — Не всякий на его месте решился бы сесть в мою «Субару». Ваши пугаются, шарахаются от меня, как от чумной.

«Ах, все-таки «ваши», — усмехнувшись, отметил Андрей. — Ну, и где ты прячешь свои ампулы и шприцы? Неужели в багажнике?»

Он покосился на отца. Отец сидел, расслабленно опустив плечи и глядя перед собой, на лице его была улыбка страдальческого облегчения.

— Мой муж — местный, — уверенно пристраиваясь к автомобильному потоку, говорила Тамара, — я уже много лет за границей живу, но от советского подданства не отказывалась. Муж учился в Союзе, у него диплом МГУ, он работал в департаменте ирригации, после прошлого переворота его уволили с государственной службы, сейчас он в частной компании, временно, не по профилю, но — ничего, живем.

Она умолкла, ожидая вопросов, но Тюрины молчали, и она заговорила вновь.

— У нас небольшая ферма, личное хозяйство здесь, за дамбой, мы разводим коров и свиней. Если будут проблемы с мясом... Давно вы приехали?

Иван Петрович ответил.

— И где работать будете?

Отец ответил и на этот вопрос, но с некоторой заминкой. Тамара пытливо взглянула ему в лицо.

— А что вас смущает? Что университет закрыт?

Иван Петрович признался, что это и в самом деле его смущает.

— Но боже ж ты мой, — изумилась Тамара, — да разве вы виноваты, что вас прислали? В таком же положении, как вы, сидят и голландцы, и французы, и западные немцы, и чувствуют они себя прекрасно. Кто виноват, что эти унтер-офицеры не знают, что делать с университетом? Это шайка мошенников и мародеров, дурачье и ворье, которому не с кем воевать, кроме как с подростками на улицах собственных городов...

По тому, как напряглись локоть и колено отца, которыми он касался Андрея, мальчик понял, что обсуждение этой темы отца обеспокоило.

Должно быть, Тамара и сама почувствовала, что предмет разговора лучше сменить.

— Холодильник — замечательная идея, — сказала она. — Кто надумал? Мама? Передайте ей, что она молодец. Но выцарапать его будет не так-то просто. Нужно расположить к себе, вы меня понимаете?

— Мы захватили с собой сувениры, — ответил Иван Петрович, приподымая матерчатую сумку. — Ложки деревянные, еще кое-что...

— Матрешки, наверно? — улыбаясь, подсказала Тамара. — Все это очень мило, но... поймите меня правильно, они же бедные люди. Вот что: я вам, пожалуй, помогу. У меня с собой есть блок сигарет «Три пятерки», здесь их почему-то считают престижными. Знаете, приходит человек на прием в канцелярию и вместо визитной карточки выкладывает на стол пачку «Пять-пять-пять», то есть не пачку, а только коробочку, в которой всего лишь две сигареты. Одну проситель важно предлагает клерку, другую либо сам закуривает, либо забывает вместе с коробочкой на столе. И тем самым подтверждает свою репутацию. На черном рынке у этих сигарет совершенно несуразная цена.

— Давайте мы у вас их купим, — сказал Иван Петрович. — Нам уже выдали деньги.

— И вы не знаете, куда их девать? — Тамара снова засмеялась. — Поберегите. Позже, когда хорошо познакомимся, я подскажу вам, на что их можно с пользой истратить. А с сигаретами потом разберемся. Договорились? Могу же я оказать соотечественникам маленькую услугу!

Андрей был разочарован: белогвардейская женщина не проявляла ни малейшего интереса к Эндрю Флейму. Похоже, она даже не подозревала, кого везет в своей задрипанной машине. И вместо того чтобы выуживать сведения и запутывать в сети, без умолку говорила сама.

— Сперва на стенку готова была лезть. Жарко, дико все... Правда,

мы не сразу сюда приехали — из-за политического положения. Долг мыкались по третьим странам, перебивались случайными заработками, а потом была объявлена всеобщая амнистия, и Жора решил вернуться. Жора — мой муж, я его так зову... Но амнистия амнистией, а московский диплом признавать отказались, целую комиссию ему пришлось пройти, унижительная процедура. Ну да ладно... После разбогатеи немного, нет — лучше сказать, разжились, обустроились, обзавелись хозяйством. И опять не слава богу: прошлой осенью уволили Жору из департамента, никак не могут простить, что учился в Союзе. Удивляюсь, когда читаю московские газеты: все в них пишут, что мы здесь страшно демократические, пробы негде ставить...

— Ну, на это, наверно, есть какие-то высшие соображения... — неуверенно возразил отец.

— А наши с вами, значит, низшие? — быстро, как кошка лапкой, цапнула вопросом белогвардейка.

Отец ничего не ответил.

Миновали последние кварталы многоэтажного города, проскочили под насыпью, и в окно повеяло тонким ароматом. Иван Петрович зашевелился, потянул носом.

— Что это так пахнет? — спросил он.

— Апельсиновые рощи цветут, — безразлично ответила Тамара.

Пикапчик мчался, бренча, по рыжему шоссе, и в кабине плескался душистый ветер. На кочковатом лугу, повернувшись мордой к дороге, стояла корова, обыкновенная красная буренка, она растопырила ноги, рога и уши с таким ошалелым видом, как будто ее только что сбросили с парашютом.

II

Всё прошло как нельзя более гладко. Желто-синий блок «555» открыл сердца работников аэропорта. Десять оборванцев вынесли тяжёлый ящик на руках и легко, как мешок с травой, забросили его в кузов пикапа. Тамара не позволила Тюриным даже подержать брезентовый полог «Субару».

— Пожалуйста, не надо, — сказала она с какой-то непонятной враждебностью.

Вся операция «Смоленск» заняла в аэропорту не более пятнадцати минут, и Андрей так и не успел взглянуть на меднотрубную карту на дальней стене главного зала.

— Ну вот, а ты говорил: «Провокация», — добродушно сказал отец, когда Тамара, доставив их к подножию «Саншайна» и помахав обезьяньей лапкой, укатила.

— А никакой провокации и быть не могло, — возразил Андрей. — Просто гражданочка поняла, что здесь ей ничего не обломится. А то, что она работает на три разведки, я тебе гарантирую.

— Не знаю, не знаю, — сказал отец. — Хороший человек, и говорит от души.

Собственно, Андрей и сам не думал, что старушка работает на

три разведки, но так уж сказалось, и теперь стыдно было отступать.
— И все равно картоночку лучше выбросить,— упрямо сказал он отцу.

Отец послушно достал из нагрудного кармана визитную карточку Тамары, скомкал ее и бросил в угол, где наметена была куча мусора.

— Ни фиги себе конспиратор! — Андрей посмотрел на отца, покачал головой и, подобрав карточку, развернул ее, посмотрел.

Там было написано: «Миссис Тамара Маймон Уиллз, Белависта-хауз. Сикст майл» — и обозначены два телефона. «Звонить вы мне вряд ли станете,— сказала в аэропорту Тамара,— это чистая формальность».

— Представляю, как мать обрадуется,— проговорил Иван Петрович, вкантивая ящик в лифт.

Мама Люда и в самом деле обрадовалась, даже затанцевала.

— Привезли, золотые мои мужички, умнички вы мои! Как же это вам удалось? Ладно, ладно, после расскажете. Все расскажете, по минуткам, уж мы с Настенькой будем слушать вас, как я не знаю кого! Давайте распакуем скорее, пока этого хрумзеля нет, надо проверить, не растрясли ли в дороге. Он со службы явится, а холодильник уже горит.

Втроем затащили ящик на кухню, распорол швы, сняли холстинку, разрезали ножом картон, открыли дверцу «Смоленска» — все цело внутри, поленья колбасы вроде даже еще прохладные.

— А говорит, пошлину надо платить в десятикратном размере! — язвительно сказала Людмила Павловна, обернувшись в сторону хозяйских дверей, — Сам плати, хрумзель! Ну, включайте скорее.

— А компрессор освободить? — спросил Андрей. — Об этом ты, конечно, не подумала? «Включайте, включайте...» Включалка нашлась.

Ему приятно было, что они с отцом выполнили-таки свою мужскую работу, поэтому он говорил с матерью ворчливо, но снисходительно. И она поняла это и растрогалась: поднялась на цыпочки и погладила Андрея по голове. Он и это ей простил, такое в его душе наступило затишье.

Наконец все было готово. Отец воткнул вилку в свободную розетку, лампочка внутри зажглась, но урчания не последовало. Минуту все молча ждали, потом Андрея осенило, он протянул руку и поставил вертушку на «норму». И тут же зарокотал мотор.

— Ур-ра! — закричали все, включая Настасью.

«Смоленск» придавал всему происходящему с ними какую-то основательность. Рядом с большим, как троллейбус, рефрижератором «хрумзеля» (мама Люда была мастерица на такие словечки) он выглядел, как ишачок рядом с битюгом. Но зато сиял новизной, тот, матвеевский, был даже не белого, а какого-то бетонного цвета. Правда, работал молча, а наш урчал.

Заполненный «Смоленск» приобрел совсем домашний вид. Любуясь своим маленьким хозяйством, Тюрины столпились вокруг. Самое время было произносить речи.

— Как русская печка,— заметил Иван Петрович, не подобрав,

должно быть, у князя Щербатова ничего подходящего.— Только на оборот.

— Это — наша жизнь,— торжественно сказала Людмила Павловна,— без этого мы бы просто пропали. Вы с папкой молодцы, вам медали надо вручить...

— За взятие «Смоленска»! — сострил Андрей, и все рассмеялись так дружно, что он покраснел от удовольствия.

А Настя еще несколько раз повторила: «За взятие «Смоленска»!» И не в силах придумать что-нибудь столь же остроумное, но, ощущая неудержимое желание растянуть, продлить момент всеобщего веселья, стала говорить разные глупости.

— Теперь еще мяса достать бы — и заживем,— мечтательно проговорила Людмила Павловна.— Я вам и нажарю, и напарю, можно даже не здесь, чтоб хозяина не нервировать, можно и в нашей ванной, там кафельный пол, и розетки имеются.

— Ох, ох! — подзадорил ее Иван Петрович.— А раз мечталась-то, расхвасталась, стряпуха Яниха!

— А что? — довольно смеясь, отвечала мама Люда.— Зелень кое-какую имеем: щавелек, редиска. Картошки и хлеба, правда, нет, но ничего, проживем. Ведь где-то люди хлеб берут, я в офисе видела у одной белый хлеб, настоящий.

— Там своя пекарня,— сказал отец.

— А мы что, чужие? Пойду к самому советнику, раз вы говорите, что он такой хороший. Не может он отказать матери двоих детей.— Она вздохнула от избытка чувств.— Ну, ладно, все это пустое. Рассказывайте, как доехали, как получили, как обратно везли, все по порядку.

И в это время в замок входной двери вставили ключ. Все притихли. Андрей поежился от неприятного предчувствия. Ох, не стоило так бурно радоваться, даром это никогда не проходит...

Вошел Матвеев, темный и хмурый, непривычно парадный, в белой рубашке при галстукѣ, в брюках полной длины, с желтым тощим портфелем в руке.

— Добрый день! — приветливо сказала Людмила.— Со службы уже?

Матвеев что-то пробурчал и, глядя под ноги, прошел к себе. Людмила и Иван Петрович молча переглянулись.

— Уйдемте, ребятки,— шепотом сказала мама Люда.— Не будем мозолить глаза.

Они ушли в свою комнату, сели на кровати друг напротив друга, как в поезде...

— Дурной какой дядька,— все еще по инерции веселья проговорила Настя.— У него, наверно, электроциты разрушили косвенный мозг.

Никто даже не улыбнулся.

Вдруг на кухне что-то грохнуло, по коридору застучали шаги — и без стука, настежь распахнув дверь, к Тюриным ворвался хозяин.

Лицо у него было плоское, передернутое, страшно белели белки глаз и зубы.

— Эт-то как понимать? — задыхаясь, спросил он — Это что за самоуправство?

— Вы не волнуйтесь, — поднимаясь, сказал Иван Петрович. — Если мешает, мы его сейчас сюда перетащим.

— А я и не волнуюсь! — высоким страдальческим голосом вскричал Матвеев. — Это вам придется поворачиваться! Капитально устроиться вздумали? Не выйдет, господа! Немедленно выматывайтесь отсюда! За простачка меня принимаете? Приехали на готовенькое! Рвачи. Это я квалифицирую как заместитель старшего группы! Рвачи.

— Послушайте, Володя, — побледнев, Людмила тоже встала, — но это неприлично! Уж если кто и рвач... Один, как волк, в огромной квартире, а у нас все-таки двое детей...

— Ах, вот так! — Матвеев трагически захохотал. — Значит, я все правильно высчитал! Значит, именно такая задумка — меня уплотнить! И не мечтайте! Я еще разберусь, кто это вбил вам в голову, что меня не продлевают. Я еще выясню, кто это сеет клеветнические слухи! И не меч-тай-те! Я еще вас тут пересижу! А ну, давайте ключ.

Людмила машинально сунула руку в карман передника. Матвеев шагнул к ней навстречу с судорожно протянутой рукой. Рот его был приоткрыт, вставные зубы сбоку синели.

— Давайте, давайте! Иначе ваш холодильник через минуту окажется вверх тормашками на площадке вместе со всем содержимым!

— Ваня! — вскрикнула Людмила, отступая в угол. — Ваня, беги скорей к Звягину.

— А что мне Звягин! — Матвеев продолжал на нее надвигаться. — Давайте ключ, не принуждайте меня к решительным мерам! Я человек слова, я шутить не люблю!

Настасья заплакала.

— Отдай ему, Мила, — сказал Иван Петрович. — Тут дело не в ключе.

Мама Люда молча протянула Матвееву ключ, нагнулась к Настасье, которая завалилась бочком на кровать и плакала, уткнувшись в горчичное покрывало.

— Вот, — удовлетворенно сказал Матвеев, пряча ключ в нагрудный карман. — Теперь не засидитесь. А за «волка» вы еще ответите, причем на достаточно высоком уровне.

И, оставив дверь распахнутой, ушел.

— Слушай, — нервно смеясь, сказала Людмила, — у него и вправду разрушен косвенный мозг. Что будем делать?

— Переезжать в гостиницу, конечно, — ответил Иван Петрович, — и как можно скорее. Мне вас тут страшно будет по утрам оставлять.

С кухни послышался противный скрежет бетона, по которому тащат металлолом.

— Беги! — вскрикнула Людмила. — Он же вещь изуродует!

— Что мне с ним, драться? — спросил Иван Петрович. — Заграница все-таки. И потом это же не Баныкин.

Банькин был известный всей Красноармейской улице дебошир, жил он под Тюриными, на первом этаже. Когда Банькин напивался, соседи снизу звали на помощь всех мужиков, в том числе и Ивана Петровича, и отец никогда не отказывался, хотя Банькин, бывало, хватался и за топор. Зато, протрезвев, преувеличенно подобострастно с отцом здоровался: «Ивану Петровичу — академический поклон!»

— Ну, если не ты — тогда я!

И, обежав широкую кровать, Людмила ринулась к дверям.

— Мама! — вскрикнула Настя. — Мапочка, не уходи!

— Прекрати истерику, мать! — сурово сказал Андрей. — Пойдем, папа, обзвоним гостиницы. Может, где-нибудь есть номера.

В квартире стало тихо.

— Да нет, — проговорила Людмила шепотом, — нельзя такое прощать. Он же потерял человеческий облик.

И, выждав несколько минут, отец и сын вышли в празднично колышущий занавесками холл. «Смоленск» уже стоял около входной двери.

— Здоровый мужик! — сказал Андрей. — Знаешь что, отец? Звони прямо Букрееву.

— Ха-ха-ха! — раздался на кухне сардонический хохот Матвеева.

Иван Петрович сел к телефонному столику и набрал номер Звягина.

— Григорий Николаевич! Тут происшествие у нас. Матвеев требует, чтобы мы немедленно съехали с его квартиры. Что значит «жалуюсь»? Я не жалуюсь, а ввожу вас в курс дела. Позвать его к телефону?

— Я позже сам позвоню! — крикнул с кухни Матвеев.

— Он позже сам позвонит, — послушно повторил Иван Петрович. — Так, так... Понятно. Хорошо, спасибо.

И он медленно положил трубку.

— Что «спасибо», что значит «спасибо»? — нетерпеливо спросил Андрей.

— Ничего, сынок, — тихо ответил отец. — Поди узнай, — он мотнул головой в сторону кухни, — как звонить в гостиницы.

— Все телефоны на листке под стеклом, — спокойным и будничным голосом отозвался Матвеев. — С этого и нужно было начинать.

— Что нужно и что не нужно — это мы без вас разберемся! — не выдержав, крикнул Андрей. — И не думайте, что все для вас уже кончилось! Мы расскажем Виктору Марковичу, как вы тут...

— Сказитель! — смеясь, проговорил невидимый хозяин. — Джамбул Джабаев. Акын. Кок-сагыз.

Отец потерянно смотрел на листок под стеклом.

— Начни с «Эльдорадо», там вроде попроще, — шепотом подсказал Андрей.

— Да был такой учебный текст, — виновато улыбаясь, невпопад ответил Иван Петрович. — Как заказывать гостиницу. Вот, припоминаю...

Он снял трубку, набрал номер, прислушался и, дернувшись, быстро и преувеличенно бодро заговорил по-английски. Андрей даже рот раскрыл от неожиданности. Впервые в жизни он слышал, как отец «щел-

кает по-иностранному», и должен был признать, что недооценивал своего старичка. Лицо Ивана Петровича было судорожно скомкано, губы вроде как обметаны, словно лихорадкой, чужеземной артикуляцией, но речь лилась плавно, как соловьиная песня, в чуть более высоком регистре, чем он говорил по-русски, и даже с какими-то китайскими модуляциями. Понятно было только, что отец произносит по буквам свою фамилию (наверное, администратор не разобрал) и что-то выясняет насчет багажа и транспорта. Наконец, отец очень по-заокеански произнес «О'кей», положил трубку и, вытерев струившийся по лбу пот, откинулся к спинке кресла.

«Ты молодец!» — хотел сказать ему Андрей, но затылком почувствовал, что в дверях стоит Матвеев, заинтересовавшийся разговором, и потому только спросил:

— Ну, что?

Отец помедлил с ответом. Не так уж часто большие дети становятся свидетелями абсолютного торжества родителей, реже, чем хотелось бы и тем, и другим. Видно было, что Иван Петрович вложил в этот разговор половину своих душевных сил — и блаженствовал теперь, как заслуживший прощение ребенок.

А Матвеев терпеливо стоял в дверях, вот он отпил то ли из стакана, то ли из бутылочки, булькнул горлом. Андрей не видел этого, но слышал, и по спине его и по шее пробежали мурашки.

— Номер есть, в «Эльдорадо», — сказал отец.

— Ну и езжайте немедленно, — вмешался Матвеев, — не упускайте своего счастья.

Андрею послышалась в его голосе издевка. Он обернулся — Матвеев уже скрылся в глубине кухни, пошел, должно быть, доедать свою кашу. А может быть, в том, что делает с ними Матвеев, все же есть какой-то смысл? Может, с взяточдателями именно так и поступают? Да, наверное, он имеет право так поступать. Может быть, сам советник дал ему указание не чикаться с этими блатнягами из Щербатова.

— Ладно, чего там, — сказал Андрей, — пойдем ловить машину. Хоть «лифты» и запрещены, но нас вынуждают. — И, не дождавшись одобрения своих слов, прибавил: — Уж если мы из аэропорта приехали, то в городе как-нибудь.

...Все оказалось, однако, не «как-нибудь». Наступил конец рабочего дня, в обе стороны проспекта тесно шли машины. Тюриным был нужен какой-нибудь пикап, микроавтобус или автофургон. Но фургончики ехали забитые служащими и военными, а порожние не останавливались, даже когда Андрей и отец выскакивали на проезжую часть и махали руками: их объезжали стороной, иногда шоферы сердито что-то кричали, иногда махали в ответ рукой. Решив, что выбрано неудачное место (запрещающий знак или что еще), отец и сын отошли подальше от дома, но и там результат был тот же.

Между тем начало темнеть — и намного быстрее, чем у нас в Союзе: небосклон сделался красным, затем густо-коричневым, усилилась духота, бензиновый чад стал особенно едок, зажглись фонари, машины повключали, а скорее стали баловаться дальним светом.

Ловить машину стало сложно и даже опасно: лупят тебя фарами в глаза, и не разберешь, грузовик это или малолитражка, а когда проскочат мимо — махать руками уже поздно.

Стало совсем темно, повеяло ночным холодком, и Андрей отчаялся. Он вопросительно посмотрел на отца, тот виновато развел руками: «Что я могу сделать, сынок?»

Вдруг сзади послышался знакомый скрипучий голос:

— Странно вы, друзья, предлагаете себя на уровне, так сказать, исполнения.

Тюрины обернулись — за одним из красных пластиковых столиков, выставленных прямо на тротуар у стены кафе с неоновой вывеской «Табаско», сидел их вчерашний попутчик Ростислав Ильич. Он как

Рисунок Валерия СМЕРНОВА





будто бы только что материализовался из вакуума и еще не успе остынуть. Пышные белые волосы его были подсвечены розовым, и бледное остроносое лицо падал отблеск неона, и оно казалось юным и даже веселым. Ростислав был в белой рубашке с короткими рукавами, она сама светилась неоном изнутри, перед ним на столик стоял высокий стакан, до краев наполненный розовой водой. Андрей даже не слишком удивился, увидев этого человека. Ростик-Детский настолько был необходим, что не мог не возникнуть.

— А почему вы тут? — спросил Иван Петрович.

— Странный вопрос. Я здесь живу, в этом доме, а вот ваши танцы возле моего подъезда мне, честно говоря, непонятны.

Ростислав Ильич отхлебнул из стакана, облизал губы, широким жестом указал на свободные места рядом с собой.

— Прошу составить мне компанию. Я вывез супругу на родину и первый день холостяк. Сахарной воды не желаете? Больше здесь увы, ничего нет.

— Спасибо, некогда нам! — жалобно сказал Иван Петрович. — Переезжаем в «Эльдорадо», машину надо поймать.

— Ах, вот оно что, — усмехнувшись, проговорил Ростислав Ильич. — Володичка Матвеев не перенес. Вас это огорчает? Напрасно, друзья мои, напрасно. Я тоже воспротивился бы, если бы вас ко мне подсадили. Привилегией, как женщиной, делиться не принято, ее завоевывают, помогают, вымучивают и зорко ото всех стерегут.

Ростислав Ильич говорил все это вяло и расслабленно, едва шевеля липкими, словно подкрашенными губами, и, точно в воздухе пронеслось, Андрей вдруг почувствовал, что все, что болтали о его Катеньке, переводившей «рога на копыта», — правда. Именно за этим столиком Ростик-Детский пережил немало черных минут, дожидаясь, когда ее привезут на блестящей японской машине. Да, именно здесь, за мокрым пластмассовым столиком под полосатым тентом в крохотном кафе, где все, и официанты, и хозяин, знают о твоём горе и сочувственно поглядывают издали... и вот подкатывает приземистая и холодная, как лягушка, машина с порочно затемненными стеклами, приоткрывается дверца — и показывается длинная женская нога с аристократическим узким коленом... Эта картина как-то сама собою возникала, словно предвидение будущего... а может быть, он просто где-то это читал.

— Что ж, я помогу вашему горю, — сказал, наконец, Ростислав Ильич и, поднявшись, вышел на край тротуара.

Отец и сын с волнением за ним наблюдали.

Минут, наверное, пять Ростик-Детский стоял неподвижно, потом что-то высмотрел в сплошном огненном потоке и, оттопырив большой палец, помахал рукою где-то вниз, на уровне колен. Полоса белых огней стала извиваться, разделилась на две, заморгала желтыми сигналами перестройки — и через мгновение прямо возле столиков «Табаско» остановился белый фургон. Он был точно такой же, как университетский, только за рулем сидел солдат в удалой кепчонке, которую Андрей про себя называл австрийской, а рядом с ним — важный,

словно маршал, широколицый унтер-офицер с насупленными бровями, в мундире цвета хаки, украшенном множеством пряжек и блях. Ростислав Ильич сам открыл дверцу кабины, поставил ногу на подножку и начал что-то объяснять. Вначале унтер слушал его недовольно и брюзгливо, потом, видимо, Ростик чем-то его развеселил, он снисходительно заулыбался и вылез из кабины.

— Интендант попался, — вернувшись к столику, сказал Ростислав Ильич. — Ну, я тут с ним посижу. Когда разгрузитесь — пришлите машину обратно, поняли? Ну, вперед.

— Вы что же, знаете его, этого интенданта? — шепотом спросил Иван Петрович.

Ростислав Ильич рассмеялся.

— В первый раз вижу. Запомните, любезный друг мой: безвыходных ситуаций не бывает... за исключением тех, которые заключены в нас самих.

12

К гостинице «Эльдорадо» они уже подъезжали вчера (подумать только, вчера, а не девяносто лет назад!), но тогда, при свете дня, это здание показалось им привлекательным и даже изящным, а сейчас, тускло освещенное, приземистое и грузное, оно было похоже на вражескую крепость, которую еще предстоит штурмовать.

По-видимому, интендантский фургон был в городе известен, потому что его появление произвело на гарнизон гостиницы впечатление. Видно было, как внутри вестибюля за широкими стеклянными дверями заматались люди, тучный администратор в желтой униформе выскочил на улицу, подбежал к кабине со стороны мостовой, и водитель важно, как генерал, бросил ему несколько фраз — видимо, лестных для репутации Ивана Петровича, потому что администратор, обойдя кабину кругом, почтительно предложил пройти вовнутрь для оформления.

— Не беспокойтесь о багаже, сэр, — прибавил он, видя, что Иван Петрович оглядывается на кузов. — Наш персонал им займется.

И точно: из вестибюля, как в цирке, выбежали униформисты и, распахнув заднюю дверь фургона, рьяно принялись за разгрузку. Один, тщедушный старичок, которому от желтого мундира с галуном досталась только куртка (он был в трусах и босиком), взвалил на спину ящик с холодильником и, не выпуская из сжатых губ сигарету, понес. Босые ноги его при этом слегка заплетались.

— Да боже ж ты мой! — вскрикнула Людмила. — Он же надорвется, умрет! Андрюшенька, помоги!

Андрей рванулся следом, но солдат-водитель, командовавший разгрузкой, остановил его и что-то весело сказал. Андрей понял так, что старый человек должен все время доказывать, что он еще способен работать.

В вестибюле царил таинственный полумрак: низкие своды, широкие арки, толстые колонны темно-зеленого камня, грузные кресла, обтянутые полопавшейся змеиной кожей, бронзовые урны и пепельницы

на высоких витых ножках — все это было тускло освещено лампадами из-под плафонов, имитирующих груды драгоценных камней.

— Страшно здесь, — прошептала Настя, сидя на краешке кресла и тревожно осматриваясь. — Заколдованное здесь все. Домой хочу, в Щербатов.

— Напугал ребенка, хрумзель проклятый! — сердито сказала мама Люда. — Арии еще поет, интеллигент...

— Да что вы, ребята! — с наигранной бодростью воскликнул Андрей. — Вполне приличное местечко. Даже красиво!

В ответ мама Люда только вздохнула. Она уже начала привыкать.

Между тем стояние отца у конторки затянулось. Тучный администратор, ознакомившись с тюринскими документами и сообразив, что никакого отношения к вооруженным силам Иван Петрович не имеет, пришел в сильнейшее раздражение. Досадуя на себя за преждевременную угодливость, он стал тянуть время: кому-то позвонил, кого-то куда-то послал о чем-то узнать, постоял, пожевал толстыми губами, не глядя на терпеливо ожидавшего Ивана Петровича, и вдруг показал пальцем на сваленный в центре холла багаж и осведомился, что конкретно находится вон в том большом ящике. Особой проницательности при этом и не нужно было проявлять, поскольку упаковывались впопыхах, и из-под перекошенной холстины виднелись ножки холодильника на колесиках.

Людмила почувствовала осложнения и заволновалась.

— Беги, подскажи отцу, — шепотом, хотя никто вокруг не мог понять ее слов, сказала она сыну, — пускай не говорит, что там холодильник. Просто вещи, всякая всячина. Не станут же они проверять, не имеют права!

Андрей укоризненно посмотрел на мать («Ну, что ж ты шепчешь, кривишься, жестикулируешь, как заговорщица, по твоему поведению все понятно!»), однако спорить не стал. Но было уже поздно: когда он подошел к отцу и тронул его за плечо, отец с вымученной улыбкой, присев и опустив ладонь параллельно полу, объяснял администратору, что там холодильник, не очень маленький, вот такого размера.

Администратор усмехнулся.

— Вот такого размера... — повторил он, вроде бы передразнивая произношение отца, что само по себе было уже неприлично, и поднял ладонь выше своей головы, а рост у него был изрядный, так что клерки у него за спиной имели полное основание захихикать. — Не разрешается

Отец стал торопливо объяснять, что холодильник — это часть багажа, не выбрасывать же его на улицу, пусть так и остается нераспакованным. Но чем больше он суетился и заискивал, тем более непреклонным становился администратор: возможно, поведение Ивана Петровича он истолковывал как признак невысокого положения — и был по-своему прав.

— Не разрешается, — повторил администратор, не слушая Ивана Петровича. — Здесь гостиница, а не частный дом. Сегодня холодильник, завтра корова...

Клерки, смутно мерцавшие желтыми камзолами в темноте за его спиной, вновь угодливо захихикали.

Тут мама Люда решила вмешаться. Оставив Настю возле багажа одну, она подбежала к мужу.

— Скажи ему, — задыхаясь, проговорила она, — скажи ему, что у меня больной желудок, что мне нужно держать при себе кипяченую воду...

И она улыбнулась администратору такой чудовищной искривленной улыбкой, что Андрей не выдержал.

— Мама! Ну, мама же! — простонал он, густо краснея. — Научись ты себя уважать!

— Уважать? — прошипела она, обернувшись. — Уходи немедленно, или я разобью твою красную рожу! Уважать! Куда мы отсюда пойдем? На улице хочешь остаться?

«Красную рожу...» Эти слова Андрей услышал от мамы Люды впервые. До сих пор между ними действовало молчаливое соглашение: мама делала вид, что ей совершенно неизвестно о манере сына краснеть, а он принимал на веру то, что она его мучений не замечает. Ни разу она не удивилась: «А что ты, собственно, краснеешь?» — и не раздражилась: «Да перестань ты, в конце концов, краснеть!» Сознательно или нет, но мама Люда поддерживала его тайную надежду на то, что окружающие вообще ничего не замечают, что все ему только бластится. Лишь однажды произнесла: «А мой сыночек меня ревнует!» — мама Люда вроде бы проговорила, но и то не явно. И вот — пожалуйста: «Разобью твою красную рожу!» Значит, все и всегда она видела, никаких надежд больше нет. Андрей оцепенел от этого простого и беспощадного открытия. Если бы он мог... если бы он был уверен, что это поможет, он перегрыз себе где-нибудь вену, чтобы вылилась горячая красная кровь, а ее место заняла бы другая, голубая, холодная, светящаяся лунно и ясно...

— Ничего не могу сделать, — отвернувшись, сказал администратор. — Очень жаль, но таковы правила. Может быть, у вас на родине и разрешается все это и многое другое, но, насколько мне известно, во всем цивилизованном мире...

Если б нашелся сейчас человек, который напомнил бы Андрею про Робин Гуда манговых зарослей, то человек этот стал бы ему лютым врагом. К счастью, об этих постыдных мечтаниях было известно лишь ему одному.

— Что он говорит? — приплясывая и дергая отца за рукав, повторила мама Люда. — Да переведите мне, наконец, что он там говорит! Не можем же мы остаться на улице! С ума сойти! Ночью, в чужой стране... и никто, никто не проявит сочувствия!

Подбородок ее затрясся, глаза налились слезами: Людмила Павлова не выдержала перегрузок. Отец и сын тревожно переглянулись: обоим было известно, что успокоить маму Люду, если она разрыдается, будет чрезвычайно сложно. Поэтому Андрей решил на хитрость.

— А где Настасья? — ахнул он, обернувшись.

Он постоянно наблюдал за сестренкой (это вошло у него в при-

вычку) и отлично видел, что Настасья от нечего делать вылезла кресла, где ее оставила мать, и пошла вокруг толстой колонны, в по ней пальцем и глядя пустыми глазами по сторонам. Но мама Лю об этом не знала. Всплеснув руками, она побежала на поиски. Вытащила дочку из-за колонны, отшлепала ни за что, ни про что, пихнула в кресло и села на один из чемоданов, расправив подол платья зорко глядя кругом: сторожила вещи, на которые никто не посяг

— Бат уот уилл уи ду? — уныло и неуклюже спросил отец.

Вполне приличная фраза эта прозвучала как лепет растерянного ребенка, и губы отца не слушались.

В это время орава униформистов со стрекотом вкатила в вестибюль вереницу гигантских кофров на подшипниковых колесиках. Этот стрекот и легкость, с которой кофры перемещались, очень забавляли носителей, они радостно смеялись и галдели. А у стойки появился хозяин нового багажа, высокий пожилой иностранец, он был в шортах, откровенно обильно поросшие седым волосом ноги, а на заднем кармане шорт красовался веселый американский флаг. Все внимание администратора переключилось на этого джентльмена, и они быстро заговорили на совершенно невозможном английском, Андрей не понимал ни единого слова, а администратор то доверительно перегибался над своим прилавком, то делал подобострастную стойку. Американец держал с ним по-товарищески и называл его «мой дорогой Дени». Навалившись грудью на стойку, он рассказывал что-то забавное. Дени, почтительно похихатывая, оформлял ему номер. На Ивана Петровича оба они обращали ни малейшего внимания: стоишь — ну и стой.

— Так что же нам делать? — повторил отец, на этот раз более настойчиво.

— Я вам уже все объяснил, — грубо ответил Дени. — Поищи другую гостиницу, где вам разрешат установить в номере свой собственный холодильник.

Таким во всяком случае был смысл его ответа.

Американец, с нетерпением ожидавший, когда ему можно будет продолжать прерванный рассказ, поинтересовался, какие у мистера проблемы. И Дени стал с юмором излагать, в чем заключаются претензии гостя. Американец обернулся, окинул взглядом тюринский багаж (рядом с его пузатыми кофрами коробка холодильника выглядела достаточно скромно) и, смеясь, сказал:

— А я думал, в русской Сибири не делают холодильники.

Эта шуточка, вполне беззлобная, привела администратора в восторг. Он даже позволил себе, перегнувшись через конторку, легонько дотронуться темной рукой до плеча старикана, как бы желая сказать: «Ничего, вы даете!»

И Иван Петрович решился. Он подошел к маме Люде, которая сидя на чемодане, запрокинула к нему лицо и долго выпытывала, что он собирается предпринять, потом, нагнувшись, так же долбкопалась в сумку, и Андрей с ужасом увидел, как отец возвращает назад, прижимая к груди завернутый в газетную бумагу и перемотанный

ный белыми нитками предмет, в котором без труда угадывалась бутылка. Стекланный груз мама Люда всегда упаковывала собственноручно и только так — обертывая каждый предмет толстым слоем мятой газетной бумаги и обвязывая нитками, почему-то непременно белыми.

Американец и Дени с интересом наблюдали за действиями Ивана Петровича. А он, вернувшись к стойке, с заносчивым видом спросил, где находится «дженерал-мэнэджер». Дени хотел сделать вид, что не понимает вопроса, но передумал, потому что американец бесцеремонно дотронулся до бутылки пальцем и дружелюбно сказал:

— О, русская водка! Гуд уэй! Хороши пут!

Тогда администратор с неохотой вышел из-за своей конторки и проводил Ивана Петровича до двери под аркой в глубине служебного отсека. Это была глухая темная дверь без таблички и даже без наружной ручки. Дени почтительно постучал костяшками пальцев, прислушался, пригнув голову, потом легонько толкнул дверь и жестом одновременно предложил Ивану Петровичу войти, сам же остался снаружи. Он вернулся за стойку и, уже не любезничая с американским стариком, видимо, озабоченный тем, что происходит за темной дверью, оформил клиента, выдал ему ключ и сделал знак обслуге, чтобы несли чемоданы американца наверх.

Иван Петрович вышел от «дженерал-мэнэджера» с бледным, но торжествующим, лоснящимся от волнения лицом, безобразно замотанной бутылки у него в руках уже не было, он держал за уголок небольшой лоскут голубой бумаги — записку, адресованную, очевидно, «дорогому Дени». Толстяк взял бумажку, просмотрел и, насупившись, протянул Ивану Петровичу ключ на массивной бронзовой груше с вставленным в нее граненым стеклышком, имитирующим, видимо, изумруд. Никакого указания своим подчиненным он не сделал, и после некоторого топтания на месте Иван Петрович сам сказал тощему старичку в желтой куртке и трусиках, чтобы тот поднимал вещи на третий этаж. Осторожный старичок, однако же, счел необходимым подойти к Дени с запросом, и Дени, не поднимая головы от своих бумаг, что-то буркнул. Только после этого униформисты дружно понесли багаж к лифту.

Лифт в «Эльдорадо» был просторный, но вместить весь багаж с постельными и оравой униформистов он не мог. Мама Люда с Настей поехала присматривать за вещами, а Андрей с отцом пошли на третий этаж пешком. Душа у Андрея изболелась от стыда и недоумения: за что их так? Ведь не мог мистер Дени знать, что они **недостойны!** Отец поднимался молча. Лишь на площадке второго этажа он остановился перевести дыхание и пробормотал:

— Рус ин орбе.

— Что? — не понял Андрей.

— Я говорю, мы — **рус ин орбе**, сельский элемент в мире, — пояснил отец.

Как будто это что-нибудь объясняло.

Гостиница «Эльдорадо» считалась, должно быть, когда-то шикарней. Коридоры ее были застелены паласами того же цвета, что и стены:

ресторанный этаж — синий, второй — зеленый, третий — красный. Чем выше Тюрины поднимались по лестнице, тем гуще становился несвежий, даже затхлый воздух с запахом сырых валенок. На лестничных площадках висели картины, изображавшие то ли виды ночного города, то ли подземелье, загроможденное коваными сундуками. Дверь одного из номеров второго этажа была распахнута настежь, там виден был небольшой холл с креслами и журнальным столиком, за балконом — огненная панорама Нижнего города, оттуда веяло ветерком, который пах лекарством и электричеством. И, проходя сквозь потоки этого инопланетного ветра, Андрей восторженно подумал: о чем же горевать? Да пусть Матвеев повесится в своих апартаментах, а мы будем радоваться жизни в гостинице «Эльдорадо». Нам, Тюриным, везде хорошо, где мы есть.

Но, когда они прошли по длинному коридору третьего этажа, устланному влажным красным ковром, завернули за угол и вошли в раскрытую дверь, возле которой уже стояли первые прибывшие чемоданы, — все его оживление улетучилось без следа. Комната, которую от щедрот своих выделил им «хрумзель», могла вместить в себя четыре таких номера. Это была крохотная клетушка с двумя кроватями и двумя тумбочками (одна с вентилятором, другая с лампой-ночник), между которыми можно было пройти только боком. Правда, еще имелся миниатюрный предбанничек, в который был уже втиснут «Смоленск». Маленькое окно, затянутое ржавой сеткой, выходило в глубокий и темный, словно колодец, гостиничный двор, оттуда пахло помоями. Над кроватями к потолку приделаны были какие-то странные балдахины с присборенной грязно-серой марлей: видимо, это и был тот самый противомоскитный полог, о котором говорил доктор Слава. Андрей потянул за шнурок — полог с тихим шумом обрушился, обнаружив мутновато-прозрачную беседку, внутри которой, как чижик на сетке, оказалась Настасья. На другой кровати, обреченно сложив ноги в коленях, сидела мама Люда.

— Подними, не нужно, — еле шевеля губами, сказала она Андрею. Мальчик повиновался.

Иван Петрович сел рядом с женой, она подвинулась, скорбно поджав губы. Наступила пауза. Душно и горячо было так, как будто все четверо, накрывшись одеялом с головой, дышали паром над вареной картошкой.

— Вот теперь-то мы и прибыли, — сказал Иван Петрович.

От звука его голоса Людмила словно очнулась.

— Что вы расселись? — вскочив, сердито спросила она. — А вещи? Кто будет смотреть за вещами?

Мужчины поднялись и поспешили в коридор. Носильщики, терпеливо ожидавшие у входа, принялись проворно затаскивать чемоданы в номер. Стало еще теснее.

«Как же мы здесь будем жить?» — потерянно думал Андрей, стоя между кроватями.

— Ну, что ты путаешься под ногами? — прикрикнула на него мать. — Не мешай, ступай пока в ванную, дай распаковаться.

— А зачем сразу распаковываться? — раздраженно осведомился Андрей.

— Надо, — отрезала мама Люда.

Андрей пошел в ванную, совмещенную с туалетом, это была тесная, как поставленный стоймя спичечный коробок, комнатуха. Ванной как таковой не имелось: просто квадратная бетонная площадочка для стоячего душа. Андрей попробовал краны — вода текла, и холодная, и горячая. «Ну, хоть что-то...» — подумал он. Сквозь открытую дверь ему было видно, как мама Люда расплачивается с носильщиками — разумеется, консервами.

— Дождешься, голубушка, — громко сказал Андрей. — Я тебя предупредил.

Мама Люда сделала вид, что не слышит.

Оставшись одни, Тюрины распахали чемоданы по встроенным шкафам и под кровати, включили холодильник — через привезенный из Союза тройничок, потому что розетка в номере имелаась только одна. Холодильник послушно заурчал. Людмила молча погладила его по боку. Сразу стало спокойнее. Одну из тумбочек мать приказала выдвинуть в предбанник, втиснула ее рядом с холодильником, водрузила на нее двухконфорочную электроплитку.

— Как на Красноармейской, — проговорил отец.

— Сейчас обедать будем и ужинать, все сразу, — сказала мама Люда. — Ничего, ребятки, заживем.

— А почему бы и не зажить? — согласился отец. — Как говаривал Михайла Михайлович, предспальня есть, заспальня есть, а к прочему роскошу мы не удобны.

Мама Люда включила плитку — и тут же в номере погас свет. Темнота наступила такая плотная, что ее, как застывший вар, можно было колоть на куски.

— Вот те раз! — охнула в предбаннике невидимая мама Люда.

— Ничего не раз, — яростно сказал Андрей. — Пережгла проводку.

Он встал, споткнулся о торчавший из-под кровати угол чемодана, нашарил дверной косяк.

— Ты куда? — жалобно проговорила где-то возле его плеча мама Люда. — Не ходи, потеряешься. Подожди, пока зажгут.

— Ну прямо так и буду сидеть, — огрызнулся Андрей. — Пойду посмотрю, только у нас или во всей гостинице.

— Да чего там смотреть? — проговорил отец. — В окно все видно. Только на нашем этаже.

— Значит, пережгла, — с тяжелой злобой сказал Андрей. — Плитку выключила или нет?

— Выключила, — смиренно отозвалась мать.

— Фу ты, черт! — громко вскрикнул вдруг Иван Петрович и вскочил, что-то загрохотало.

— Мама! — позвала, проснувшись, Настя. — Мама, ты где?

— Я здесь, доченька, спи давай! У нас свет перегорел.

— Мама, иди ко мне, я боюсь!
— Иду, иду, родненькая!
— Пробираясь к Настасье, мать с упреком сказала Ивану Петровичу:

— Что тебя подбросило? Укусил кто-нибудь?
— Да не укусил! — отозвался уже из коридора отец. — Хуж! Я ведь про машину забыл! Машина-то стоит, меня дожидается! Придётся мне вас оставить. Коробку конфет дала бы мне, я подарю лейтенанту.

— А где я тебе ее найду? — спокойно спросила откуда-то снизу мама Люда.

— При слабом свете из дворового окна Андрей разглядел, что она уже сидит возле Насти, гладит ее по головке.

— И тут вспыхнул свет, все подслеповато заморгали глазами. В пороге стояла смуглая широконосая женщина в белом платье и белом наколке, от этого лицо ее казалось особенно темным. Мельком взглянув на электроплитку, она быстро заговорила по-английски.

— Это наша горничная, зовут ее Андже́ла, — перевел Иван Петрович. — Говорит, что разрешение нам дали только на холодильник, плитку включать нельзя: блокировка. Ну ладно, разбирайтесь тут сами.

— И, забыв про конфеты, отец убежал.

— Андже́ла постояла, глядя на Настасью, потом проговорила: «Ресторан еще открыт, можно пойти поужинать» — и ушла.

— Какой ресторан? При чем тут ресторан? — обеспокоилась мама Люда.

— Она сказала: «Устроили в номере ресторан!» — мстительно ответил Андрей.

Это было жестоко по отношению к маме, но очень уж он устал за сегодняшний день, и все на свете ему надоело.

— Надо было ей дать что-нибудь, — озабоченно сказала мама Люда.

— «Дать, дать», — передразнил ее Андрей. — К Букрееву на прием захотелось?

— Хорошо, сыночек, все поняла, сыночек, — миролюбиво ответила мама Люда и потянулась погладить его по голове.

Андрей резко отстранился.

— Оставь! Ты мне рожу разбить собиралась.

— Прости меня, сыночек, — жалобно проговорила мать, — перепсиховалась я, виновата.

— Конечно, виновата, — злобно сказал Андрей, остановить себя в бешенстве он не мог, и чем ласковее его упрасивали, чем больше уступали — тем неуклоннее он двигался к иступлению. Только беспричинный отпор мог привести его в чувство. Сам он об этом знал, а мать и не подозревала. — Ты одна во всем виновата! Пустили Дуньку за рубеж!

— Мама, — тревожно вскрикнула Настасья, изучившая уже нравы своего старшего брата, — мама, Андрюшка бесится!

— Замолчи, заморыш! — крикнул ей Андрей.

— А ты — выродок, — возразила Настя, — выродок из нашей семьи.

— Андрей посмотрел на нее — и ему стало смешно... Смех сквозь злобу — довольно противная штука, как чеснок с сахаром. А главное — маму Люду обидеть ему никак не удавалось, хоть плачь.

— Разбушевался шелудень, — ласково сказала она, — так завтра будет добрый день.

— И присказки твои идиотские! — закричал Андрей. — Ты мне скажи лучше, где я спать буду, где?

— С Настенькой, — глядя на него снизу вверх, ответила мать.

— Д-да? — Андрей даже задохнулся от бешенства. — Ты что, больная? Больная, да? Совсем вогнутая?

Трудно сказать, чем бы это кончилось, но тут вернулся отец.

— Что это вы? — укоризненно сказал он. — Благовестите на весь коридор. Все-таки чужая страна!

Андрей умолк и, сунув руки в карманы штанов, прислонился к дверному косяку. Штаны были те самые, голубые, «техасы» с бордовой прострочкой, которым он так радовался сегодня утром в «Саншайне».

— Отпустил машину? — как ни в чем не бывало спросила Людмила.

Она готова была вытерпеть любое оскорбление, только бы ее не называли «она».

— Ай, сама уехала, — Иван Петрович махнул рукой. — Шофер, мазурик, не стал меня дожидаться. Ну, поднимайтесь, пошли в ресторан. Не помирать же с голоду!

— Какой такой ресторан? — недоверчиво спросила Людмила.

— Шикарный! — сияя, ответил Иван Петрович. — Я заглянул по дороге. Серебряные скатерти, белые приборы...

Отец, конечно же, хотел сказать наоборот, но никто его не поправил: зачем, когда и так все понятно?

— Ну и что там есть, кроме скатертей и приборов?

— Рыба с рисом, и пахнет хорошо. Но главное, Милочка, не это. Главное, денег не берут! Питание входит в стоимость нашего содержания. Только если пиво закажешь...

— Как, как? — растерянно переспросила Людмила. — Ну-ка объясни еще раз, что-то я от переездов от этих и в самом деле какая-то вогнутая.

Иван Петрович терпеливо объяснил, что стандартные завтраки, обеды и ужины для всех постояльцев «Эльдорадо» бесплатные: содержание в гостинице иностранных специалистов — временное, по вине местной стороны, которая обязана их обеспечить жилплощадью.

— Ты понимаешь, Милочка, тут такая система. Пока нам не будет предоставлена квартира, мы на полном пансионе. Только пиво в пансион не входит. Но пиво бывает редко, когда завоз...

— Ай, брось ты о своем пиве! — возмутилась Людмила. — Я ничего не понимаю, ну ничегошеньки... Зачем же нас тогда гостиницей пугали?

— Ну, мать! — воскликнул Андрей. — И бестолковая ж ты! Скажи лучше, зачем мы приволокли столько консервов?

— Отстань, — отмахнулась от него Людмила, — и ничего ты не соображаешь.

Она вскочила, метнулась к двери, выглянула в коридор, возвратилась и встала посреди комнаты, опустив руки и повторяя:

— Что-то здесь не так, что-то здесь не так...

Вдруг она опустилась на колени и, вытащив из-под низкой кровати чемодан, распахнула его и стала лихорадочно рыться в одежде:

— Приборы серебряные, публика...

Достала черное платье с прозрачной вставочкой, посмотрела, смущенно вытянув губы, как бы мысленно произнося слово «гипюр», потом со вздохом положила обратно.

— Ай, ничего не хочется. Пойду в сарафане, с голой спиной.

И, все еще стоя на коленях, обернулась и с вопросительной и виноватой полуулыбочкой посмотрела на своих мужчин. Хорошо, что отец вернулся вовремя, много было бы сказано здесь неправедных слов.

На площадке второго этажа возле ресторанных дверей Тюрин остановились: Людмила Павловна поправила свою накидушку, Иван Петрович приосанился, Андрей пригладил вихры. Одной лишь Насте было наплевать на свой внешний вид, она спала на ходу, ей и ужинать то не хотелось.

Из-за дверей доносился звон посуды, пахло жареной рыбой и чесноком.

— И все равно — что-то здесь не так, — упрямо и даже ожесточенно сказала Людмила. — Смотри-ка, наш идет, давай спросим.

По лестнице поднимался белый человек, это был плотный чернявый коротыш с широким бледным лицом и косо спадающей на лоб челкой. Услышав, что его распознали, он досадливо нахмурился и хотел побыстрее пройти мимо, но Иван Петрович его окликнул:

— Товарищ!

Коротыш остановился и, обернувшись, сказал:

— Ну, зачем так громко? Мы же не в бане.

— Извините, товарищ, — сказал Иван Петрович. — Затруднение нас вышло. Вы здешний?

— В каком смысле?

— Ну, здесь проживаете, в «Эльдорадо»?

— Допустим, здесь. Вы поскорее развивайте мысль, я спешу.

Иван Петрович напрягся и, криво улыбаясь, соорудил неуклюжий вопрос — как из англо-русского разговорника:

— В котором часу в этом ресторане кончается ужин?

Чернявый хмыкнул:

— И это все ваши затруднения? Здорово, мне бы так. Вон там, — он фамильярно взял отца за локоть, развернул лицом к двери, — вон там, под стеклышком, написано.

— А сами вы разве не здесь питаетесь? — осторожно спросила Людмила.

Коротыш пристально взглянул ей в лицо, улыбнулся медленной нехорошей улыбкой, покачал головой, как будто хотел вымолвить «ай-яй-яй».

— Нет, — после паузы ответил он, — только ночью.

— А почему? Микробов боитесь?

Чернявый ответил не сразу. Он ловко, как фокусник, достал из нагрудного кармана одну сигарету, словно подчеркивая этим: «Прописью — одну», — не торопясь, с удовольствием закурил.

— Во-первых, скумбрию не люблю, — сказал он, с прищуром глядя на маму Люду. — Здесь, кроме скумбрии, ничем не кормят. А во-вторых, у меня друзья в городе, вместе и питаемся, на кооперативной основе.

— Да, но здесь-то денег не берут! — не унималась Людмила.

Коротыш сделал глубокую затяжку, помедлил.

— Что значит «не берут»? — с удовольствием сказал он. — Возьмут. Догонят и еще раз возьмут. Вы уже пообедали?

— Так они же сказали... — отворачиваясь от гневного взгляда жены, растерянно забормотал Иван Петрович, — они же мне объяснили, что входит в содержание...

Коротыш его остановил.

— При чем тут они? Ну при чем тут они? Их это не касается. Наши возьмут. Вычтут сорок процентов при выплате зарплаты — и дело с концом. А то больно жирно получится: инвалютный оклад да еще бесплатное питание для всей семьи.

Наступила тишина. Чернявый больше никуда не спешил, он наслаждался замешательством Тюриных.

— Новенькие? — спросил он сочувственно. — Из какой группы? Ах, наши. Замена Сивцова. Ну, вот мадам Звягина лично и потребует справку от мистера Дени, питаетесь вы здесь или нет. А кстати...

Это было именно то, чего боялся Андрей, так оно всегда и начиналось. «А кстати, — с едкой ухмылочкой, и пальцы, дрожа от нетерпения, вытаскивают притертую пробочку из флакона с серной кислотой, — а кстати, как вам удалось, из города Щербатова?» И — белая, слепящая вспышка в глазах, и зашипела, пошла кровавыми пузырями кожа... Ну нет, только не это, сколько можно?.. Только не это! опередить, ударить первым, выбить из рук, обозлить, что угодно, только не это!..

— Ладно, пошли, — грубо и нарочито хрипло сказал Андрей. — Или туда — или сюда. Есть охота!

Родители удивленно переглянулись: подобных выходов Андрей никогда себе не позволял — во всяком случае в присутствии посторонних. Чернявый склонил голову к плечу, задумчиво посмотрел на мальчика.

— Как тебя зовут? — спросил он. — Андрей? А меня — Бородин Борис Борисович. У меня сын тебе ровесник. И не нравится мне, — он бросил в бронзовую пепельницу окурков, сипевший от влаги, — не нравится мне, когда нагличают.

И, круто повернувшись, пошел по лестнице вверх.

Андрей стоял набычас и видел, как в зеркале, свое вспухшее слезливое криворотое лицо с размазанными губами, свои огненные уши. И все-таки он опередил этого человека, ушел от ожога и слезы, не дал себя достать. Значит, есть средства и способы, есть простые приемы, надо только все время быть начеку.

— Беги, ду-ра-лей, — раздельно проговорила Людмила и толкнула

мужа в бок, — бери скорее справку, что от питания отказываемся. Тюрят ты луковая... А то — «пиво, пиво...».

...Ночью Андрей слышал, как родители перешептываются и соседней кровати (еще бы не слышать, когда до них можно было дотянуться рукой).

— Ой, Ванюшка, — шептала мама Люда, — ты сам посчитай. У нас двое, одеть-обуть надо, на вырост закупить, или ты думаешь, что тебя каждый год посылать будут? Нет, позволить себе ресторан мы не можем. Сорок процентов, шутка сказать, — половина зарплаты. Не волнуйся, я все устрою. Поезжай завтра в кампус спокойно, вернешься — будет тебе готовый обед. Главное — мясо купить, мясо Валентина говорила, послезавтра будут давать, только рано нужна очередь занимать, часика в три-четыре. Будет мясо — будет жизнь, а с электроэнергией я пристроюсь. Это ж не стихия бездушная, предрасположения людьми поставлены. Значит, люди их и снимут. Положись в этом деле на меня. Ты свое сделал, вывез нас за рубеж, теперь трудись спокойно и ни о чем больше не думай. А что ты смеешься? Мы ж за рубежом? За рубежом. Вон — полмира посмотрели. Думала ли Людмила Минаева, мечтала ли? Нет, Ванюшка, хоть и трудно, а я такая довольная, такая довольная... Ты о чем молчишь? О чем думаешь?

— Я все размышляю, — забубнил отец, он не умел разговаривать шепотом, все дудел, как в жестяную трубу, — я все размышляю: куда эти сорок процентов пойдут? Местной стороне? А с какой стати? В нашу казну? А по какой статье? Расходы господ Тюриных на питание? Да ведь не наша сторона нас согласна кормить? Это ж еще надо найти формулировку...

— Господи, о чем ты печалишься? Не беспокойся: деньги сдашь — статья найдется. Вот что у меня из головы не выходит — это Тамара, которая вам с холодильником помогла. Двадцать лет не видела родины, бедная... и замужем за чужим мужиком... Разве с ним поговоришь вот так, как мы с тобой говорим? И наши от нее сторонятся, это ж так понятно... Зря вы ее карточку разорвали, хотя, может быть, и не зря. Машина, частная фирма, не такая уж она, выходит, и бедная. Интересно, чего ей все-таки от вас надо было? На крючок хотела взять? Под монастырь подвести? А зачем? Какая ей с этого выгода? Надо мне на нее посмотреть, я уж разберусь, я в людях кое-что понимаю. Слышишь, Ванюшка? Если встретишь ее в городе — не отбрыкивайся...

Отец молчал, мирно посапывая носом.

И так будет целый год, сказал себе Андрей, а то и больше. С ума сойти можно. А когда жизнь? Когда будет жизнь? Ведь не может быть, чтобы это и была сама жизнь. Нет, не может быть, не для этого я родился. Интересно, где спит сейчас Кареглазка. Высоко над цветами, среди звезд и летучих мышей. А хорошо сейчас на озере в Миловидове... камыши серые, вода зеленая, пасмурно, ветерок...

— Ох, как душно... — со стоном проговорила мама Люда. — Двери в коридор открыть, что ли? Никто нас не украдет, кому мы нужны?..

Мать зашлепала босыми ногами, брякнула бронзовой грушей, вися-

щей на ключе,— и в комнатку повеяло живым воздухом. Настя, потная, измученная, заворочалась на скомканной простыне, благодарно вздохнула. Мама Люда подошла, наклонилась, заботливо прикрыла ее другой простыней, опустила полог, постояла, опять подняла, бормоча: «Вот и хорошо, вот и слава богу, вот и слава богу...» Это подделывание под детский лепет Андрея всегда сердило, он и сейчас хотел сделать матери выговор, но не успел: в голове у него затуманилось, и его круто повело в сон.

Ему снился искореженный, весь протоптанный ольховник, сквозь который гоняют скот, с бугристыми корнями, обломанными ветками, ободранной корой, из-под которой на ссадинах проступает красноватая древесина. Он шел по ольховнику, спотыкаясь на твердых буграх, конца краю не было этому больному редколесью... Отчего же так душно? Не должно быть так душно. Пот лился по лицу, мошкара липла к губам, лезла в глаза и в уши. Вдруг, раздвинув ветки, он увидел перед собою широкий Ченцовский луг. Возле раkit, темно и глухо клубившихся у самой воды, стояла туго распяленная красная палатка, внутри нее, кажется, горел фонарь. Рядом, потрескивая, плясал костерок, на нем что-то жарилось и жирно шкворчало. А позади костра стояли люди, четверо человек, мужчина, женщина, мальчик и девочка, несоразмерно высокие, худые и как-то странно перехваченные в бедрах, как будто изломанные полиомиелитом... Что-то толкнуло Андрея в грудь, и, пятясь назад, он отчетливо осознал, что это **ленинградцы**, те самые... Они глядели в его сторону неподвижно и строго, и длинные тела их струились вместе с дымом костра... Внезапно оттуда повеяло чем-то мучительно сладким, так, что Андрей застонал от голода — и проснулся.

Пахло мамиными блинами, и это была не галлюцинация, а самая что ни на есть реальность. В тесном, как шкаф, предбанничке горел свет, шипела сковорода, сквозь седую кисею полога видно было мамину спину, голую, с родинками, тесно перехваченную тесемками купальника.

Почувствовав, что на нее смотрят, мама Люда заглянула в комнату, приподняла полог и озабоченно улыбнулась:

— Проснулся, родненький? А я тебя уже будить хотела. Чтоб пешком через весь город не идти... в восемь часов автобус школьный проходит, надо тебе съездить, записаться на сентябрь. А может, и помочь учителям придется. Сегодня в последний раз автобус подают, я у Бориса Борисовича узнала. Сын его тоже едет, с ним и сядешь. Я бы и сама с тобой поехала, да вот Настя подвела, что-то с животиком у нее, не пошли ей холодные консервы.

— А ты тетю Анджелу блины учила пекти! — сообщила, выглядывая из душевого отсека, Настасья, она подъехала к двери, сидя на своем зеленом горшке.

Быстро обвыкаются маленькие: чужеземное имя «Анджела» Настя произносила с такой же естественностью, как «тетя Клава».

И тут до Андрея дошло: мама решила энергетическую проблему! Он вскочил с постели, выглянув в предбанник: обе конфорки были

включены на полную мощность, на одной сипел чайник, на другой лопала сковорода.

— Как это тебе удалось?— подозрительно спросил он, оглядывая проводку.

— Простые люди о простых делах всегда договорятся,— сказал мать, не подозревая, что провозглашает великую истину.— Живем будем жить.

Душа Андрея исполнилась благодарности и смущения. Нужн было как-то загладить вчерашний срыв, и, разыграв простодушн Андрей спросил:

— Ма, а что такое «шелудень»?

Мама Люда и стыдилась своего чернососного происхождения и гордилась им, как дитя. Лучшего способа растрогать ее и одновременно дать понять, что он просит прощения за вчерашнее, Андре не мог бы придумать.

— Ой, и хитрый ты малый!— нараспев произнесла она улыбаясь.

— Весь в Минаевских,— ответил Андрей, ставя таким образом печать под текстом мирного договора.

За завтраком мама Люда завела разговор о той самой женщине белогвардейке по имени Тамара: эта тема, по-видимому, очень е занимала.

— А машина. у нее новая, импортная?— с жадностью расспрашивала мама Люда.— А на усадьбу вы к ней не заезжали? А кака она из себя... ну, молодая, красивая? Как одета?

Полагая, что с этой шпионкой им более не придется встречаться Андрей провел над родной своей матерью невинный, как ему казалось эксперимент.

— Высокая, рыжая,— начал фантазировать он,— волосы по плечам. Лицо белое, глаза карие... В общем, ничего.

— Ничего, говоришь? — задумчиво переспросила мама.

Посидела, глядя в сторону, потом поднялась, надела халатик, снова села.

— Ладно, как-нибудь,— сказала она со вздохом.

Наевшись блинов, напившись чаю, Андрей надел чистую белую тенниску и школьные брюки, блестевшие, как зеркало, на зад, взял картонную папку со своими школьными документами (с этой папкой «Для доклада» он проходил оформление на выезд и суеверно увез ее, потертую, с собой за рубеж) и, провожаемый напутствиями мамы, вышел на улицу.

Было тепло и солнечно, все гомонило, пестрело, благоухало, чадило и мельтешило вокруг.

Возле приземистого подъезда «Эльдорадо» стоял паренек, тоже одетый по-советски, только не русский, как Андрей, а чернявый, плотненький и солидный, в руке у него был сверкающий хромом и никелем чемоданчик «атташе-кейс», выглядевший довольно нелепо и вызывавший представление о каком-нибудь кружке юных заграникадров. Паренек мельком взглянул на Андрея и застыл, лицо в полупрофиль, то ли

глядя, то ли не глядя на своего ровесника. Волосы у него были расчесаны на косой пробор, как и у отца, Бориса Борисовича.

— Привет,— сказал Андрей.

Бородин-юниор терпеливо вздохнул и ничего не ответил, только по-старушечьи поджал губы. И манеры у него были тоже отцовские.

— В школу? — спросил Андрей.

— Ну,— ответил юниор.

— Автобус точно приходит?

— Придет,— процедил Бородин и отвернулся.

В самом деле, сказал Андрей, все здесь малахольные. То ли специально подбирают таких, то ли они мутируют под воздействием климата. Но отступаться было не в его правилах.

— Ты в каком классе? — спросил он, подходя ближе.

Юниор раздражился и потемнел лицом — в точности, как его отец, как Володя Матвеев, как Григорий Николаевич Звягин. Даже физически чувствовалось, что темная кровь быстро и горячо залила ему мозг.

— Что за манера лимитская заговаривать на улице с незнакомыми людьми? — желчно сказал юниор. — А может, я агент «Интеллидгент сервис»?

— Ха,— сказал Андрей. — Во-первых, не «интеллидгент», а «интеллидженс». За версту выдать иностранца.

— И шуточки лимитские,— огрызнулся Бородин.

Но Андрея не так легко было втянуть в перебранку, если сам он этого не хотел.

— Да ладно выкалываться,— миролюбиво сказал он. — Тебя как зовут?

— А зачем это знать? Я все равно уезжаю.

— Что так рано?

— С чего ты взял, рано?

— А с того, что в гостинице живешь. Значит, меньше года.

— Для этой дыры хватит. Сыт по горло.

— А в каких еще дырах ты бывал?

Ничего не ответив, Бородин перешел на другое место, к стене «Эльдорадо», и отвернулся.

Тут внимание Андрея привлек приближающийся скрежет. Посередине проспекта, прямо по разделительной полосе, с двух сторон обсаженной зонтичными акациями и усыпанной опавшими голубыми цветами, катили три полугусеничных бронетранспортера. Люки их были наглухо задраены, маленькие пулеметные башенки повернуты в сторону обоих тротуаров с таким веселым видом, что по спине у Андрея пробежали мурашки. Он поглядел по сторонам — все прохожие как по команде выстроились вдоль стен домов, и даже любители черного кофе вышли из-за столиков, оставив свои чашечки и стаканы с водой, и отступили от края тротуара. Все смотрели на Андрея — нет, он не ошибался, именно на него, точно вдруг договорившись, что вот он, спаситель,— с детским любопытством и страхом.

— Сдурел? — крикнул ему от стены Бородин. — Хочешь неприятностей?

Андрей проворно отбежал к стене. Видимо, он сделал это вовремя. Когда передний броневик поровнялся с «Эльдорадо», одна из башенок слегка шевельнулась, как будто погрозила Андрею пальцем. От скрежета все вокруг словно покрылось густой черной штриховкой, и пока тройка весело чадающих боевых машин, таких свирепых по бледно-зеленым куполам акаций, не отделилась, Андрей не мог ничего просить.

— Что это было? — обратился он к Бородину, когда бронемашинны скрылись за изгибом набережной. — Переворот?

Ему очень хотелось поговорить с ровесником, который был свидетелем настоящего переворота.

— «Что, что»... — передразнил его юниор. — Стоит, как пень. Это сам во дворец поехал.

— А где ж его машина?

— Он в одной из этих коробок сидит. В которой — никто не знает.

— И каждое утро здесь ездит?

— Первый раз вижу. Он все время дорогу меняет. Еще вопрос есть?

— Есть. Чемоданчик с шифром?

— Ага, — не без удовольствия сказал Бородин.

— Где достал?

— Что значит «где»? В дипшопе, вестимо. Не на базаре же. А вот где ты папочку такую клевою отхватил? Пятерки везешь?

— Допустим.

— Да не «допустим». Для троек бы получше нашел. Считай, что плакали твои пятерки.

— Это почему?

— Сам увидишь.

В это время подъехал наш обычный автобус, далеко не новый, кое-где помятый, вроде как бы с похмелья, даже с выдавленной левой фарой. И шофер из кабины глядел нашенский, тощий, молодой и нахальный, на безрукавке у него было написано «Ай нид лав», а на лице — «Да ничего мне от вас не надо».

На диванчике напротив двери восседала дородная, но молодая черноволосая женщина, с густыми, почти сросшимися на переносице бровями, чем-то похожая на таможенницу, которая терзала маму Люду в шереметьевском аэропорту. Эта была, как невеста, вся в ослепительно-белом, узкая юбка едва не лопалась на ее бедрах, но вид имела не более девический, чем офицерские лосины литературных времен, и даже блузка с нежными рюшами и кружавчиками вызвала в памяти слово «вицмундир». Дело было не в одежде, а в лице — суровом, сосредоточенном, исполненном не женственного стремления во что бы то ни стало выглядеть чинно. Поднявшись по ступенькам, Бородин-юниор подобострастно, не кивнув, а копнув носом, поздоровался с нею:

— Доброе утро, Элина Дмитриевна!

— Доброе, — сухо констатировала женщина, едва кивнув могучей, основательно посаженной на короткую шею головой.

Малопривычная эта манера отвечать на приветствие в те времена была еще в новинку, и Андрей настолько удивился ей, что пропустил момент, когда еще можно было сказать свое «здрассте», поскольку Элина Дмитриевна тут же отвернулась.

А юниор, не оглядываясь, прошел в глубь автобуса, сел на свободный диванчик и, поставив рядом с собою свой чемоданчик, принялся с деланой беспечностью смотреть в окно.

«Ну и черт с тобой», — подумал Андрей и, усевшись боком к двери напротив Элины Дмитриевны, окинул взглядом салон.

Он ожидал, что внутри будет полно разновозрастных ребятишек в красных галстуках и синих пилотках: где-то в киножурнале он видел, как ученики школы при совпосольстве украшают гирляндами высоких гостей. Но в автобусе ехали одни только толстые домохозяйки в застиранных платьях и дошкольная малышня. Тетки сплетничали на заднем широком диванчике, малыши баловались, толкались, пересаживаясь бочком с места на место, менялись жвачкой, переругивались задиристыми птичьими голосами — словом, вели себя как нормальные дети, только все нездорово взмыленные и более агрессивные, чем им полагалось по возрасту. «А ты кто такой? А ты? Да кто ты такой, чтоб я тебя слушал?» Несколько раз Элина Дмитриевна, сидевшая боком к их суете, медленно поворачивалась всем телом, высоко держа голову с черной короной пышной укладки, и выразительно смотрела на расчирикавшихся малышей, после чего какая-нибудь мамаша принималась их урезонивать. Кареглазки в автобусе не было и быть не могло, это Андрей понимал: если она и приезжала в школу, то только на отцовской машине.

Андрей стал осторожно присматриваться к Элине Дмитриевне. На руке у нее были массивные мужские часы, ошетилившиеся во все стороны кнопками и имевшие космический вид. Интерес Андрея к часам Элины почему-то не понравился: она недовольно покосилась в его сторону, слегка покраснела (что едва было заметно при ее смуглой коже) и переложила белую тончайшей шерсти кофту с руки на руку так, чтобы часов больше не было видно.

Элина Дмитриевна страдала от солнечного света и тепла, хотя было не так уж и жарко: по смуглой шее ее на грудь бежали струйки пота, распространявшие луковый и одновременно женственный аромат. Девчонки, когда взмокнут от пота, пахнут репчатым луком, в их раздевалке после физкультуры хоть вешай топор. А это была крупная взрослая женщина, по стати — матрона... Но цвет ее губ, нежность кожи и эта манера мгновенно краснеть, очень расположившая к ней Андрея, — все говорило о том, что для директрисы при любом раскладе Элина Дмитриевна слишком еще молода.

Под школу отведен был одноэтажный особняк, к его широкой мраморной лестнице вела мощеная дорожка, с обеих сторон обсаженная все теми же кустами, которые цвели анилиновыми цветочками, напоминавшими о преждевременной бумажной весне наших первомай-

ских демонстраций. Бородин-юниор понятия не имел, как называются эти цветы, и в ответ на вопрос Андрея пожал плечами:

— Господи, какая разница? Мне бы твои заботы.

Удивительно, думал Андрей, как мало у некоторых людей интереса к окружающему миру... Чем они тогда все время заняты? Пересчитывают в уме варианты поведения? Мысленно ковыряют в носу? Мальчик не отдавал себе отчета в том, что и сам он только что проехал через иноземный город, поглощенный размышлениями о своем, — и почти ничего не увидел. Он не знал, что пройдет месяц — и Офир исчезнет, как сон, оставив в памяти его лишь эти сухие шелестящие оранжевые и лиловые цветы, не имеющие для него даже названия.

Не без трепета Андрей поднимался по парадной лестнице вслед за Элиной Дмитриевной и Бородиным. Снаружи школы почти не было видно, так, вестибюль один, напоминающий театральные входы в никуда, в темный и пыльный закулисный мир с хлябающими фанерными дверцами. Однако внутри оказалось просторное и вполне добротное помещение: что-то вроде длинного зала с паркетным полом и двумя рядами белых колонн, слева — широкие окна с низкими подоконниками, глядящие в зеленый сад, справа — высокие белые двери классных комнат со странными, какими-то хронологическими табличками: «V—VI», «VII—VIII». В дальнем конце зала на обтянутом красным постаменте возвышался гипсовый бюст, однако без пальм в кадучках, без знамен и иных обрамлений он выглядел голо, как в бане. Вообще что-то в этом помещении было не школьное, административное, исполкомовское, а что именно — сразу и не поймешь.

Андрею хотелось заглянуть в классы, ему представлялось, что там он увидит чудеса обучающей техники, электронные пульта и видеоэкраны на каждой парте. Но Элина Дмитриевна возилась с ключом возле двери, на которой висела табличка «Учительская», а Бородин, держа свой «атташе-кейс» за спиною, смиренно ждал поодаль, у колонны. Когда дверь открылась, произошла странная заминка: Элина молча вошла, оставив дверь приоткрытой, что можно было истолковать как приглашение заходить. Андрей вопросительно взглянул на юниора, тот насупился и решительно шагнул вперед. Андрей двинулся было за ним, но Бородин, взявшись за ручку двери, вдруг оттолкнул его задом, но отчетливо прошипел:

— Обождешь, — и, проскользнув в учительскую, плотно притворил за собою дверь.

Постояв у двери, Андрей отошел к окну, сел на широкий подоконник. Какое-то время, хмурясь и по-разному складывая губы, он приводил свое растерянное лицо в порядок, потом с независимым видом вскинул голову и стал осматривать зал.

Вот чего не хватало этой школе: тут и не пахло детьми. Ни одного пятна на стенах и колоннах, они лишь пожелтели, как слоновая кость, оттого, что их не перекрашивали давно. Ни единой каракули на подоконнике, который, казалось, и задуман был для того, чтобы на нем рисовать. Ни одной корявой детской стенгазеты, на стенах

красовались лишь те же, что и в офисе, фотовитрины и монтажи.

Тут за окном у ограды чавкнула автомобильная дверца, по плитам дорожки процокали девичьи шаги, и в зал с колоннами вошла Кареглазка.

На ней было платье, сшитое как будто из серой холстины, в которую был задрапирован «Смоленск», единственным украшением этого платья-мешка служил карман с аппликацией в виде коричневой пчелки, фривольно расположившейся где-то чуть ли не в самом низу живота. Такая же пчелка была нашита и на сумку, представляющую собой просто нищенскую торбу — не на ремне, а на лохматой веревке. Подобный набор Андрей видел в Иришкиных каталогах, но надо признать, что все это очень подходило к сытенному личику Кареглазки, к ее золотистым глазам и к рыжеватым волосам, которые были красиво рыжи, в них крупно перемежались темные и светлые прядки.

— Элинка приехала? — спросила она Андрея, подходя и кивая на дверь.

Это были первые слова дочки советника, обращенные к мальчику из Щербатова, и произнесены они были нарочито напористо и сурово: так разговаривают с подростками практикантки из пединституты.

Кареглазка и не подозревала, что в школьных стенах с нее слетело все закордонное очарование, и хоть бы она обвешалась с ног до головы жемчугами, здесь она была обыкновенной дылдой, такой же, как все восьмиклассницы, которые, почуяв добро за пазухой, с катастрофической быстротой начинают дуреть. И уж того менее могла Кареглазка догадываться о том, что стоит только этому сумрачному мальчику захотеть — и она окажется среди тающих сугробов Таймыра в убеждении, что именно там и есть ее настоящее место, и мужики в ватниках и натянутых на уши вязаных шапках будут окликать ее другим именем: Катька, например, или Туська, как взбредет в голову встречному, который на нее поглядит.

— Приехала, — безразлично произнес Андрей и даже, что было лишнее, пожал плечами. — Но она занята. Там Бородин.

— Кто-кто? — удивленно, нараспев переспросила Кареглазка. От нее веяло прохладой, вполне естественной, если учесть, что она только что вышла из машины с кондиционером, однако пушистая верхняя губа и ложбинка на груди, видневшаяся в широко отлежавшем вороте платья, куда Андрей не мог не смотреть, были уже влажны от пота. — Бородин? Что за Бородин? Из «Совэкспортфильма»?

Андрей объяснил.

— Боже, какая важность, — ровным голосом проговорила Кареглазка и решительно взялась за дверную ручку.

«Эта еще нет... но скоро будет», — глядя, как легко и сильно извернулось ее тело внутри льняного мешка, подумал Андрей.

Кареглазка, разумеется, тут же обернулась и, прищурясь, оглядела его с головы до ног. К счастью, он стоял к окну спиной, и вряд ли ей было видно, как он смутился.

— А ты-то что выжидаешь? — спросила она. — Взятку, что ли, принес?

Кровь отлила у Андрея от лица, ноги стали горячими и мягкими. Кто-то чужой в голове его с некоторым удивлением отметил, что от ее прямого оскорбления, оказывается, бледнеешь, в краску, оказывается, вгоняет лишь косвенный намек... но оценить всю важность этого открытия Андрей в тот момент не сумел. Он машинально посмотрел на свою канцелярскую папку, потом перевел взгляд на Кареглазку.

— Полегче со словами,— тихо сказал он.— Здесь твоих родственников нету. Здесь ты никто и звать никак.

Женечка перестала усмехаться.

— Ну, если я никто,— звонко проговорила она,— то ты вообще чмо. Стой и жди.

И, дернув плечом, она открыла дверь и вошла.

«Надо же, какая сволочь»,— растерянно подумал Андрей.

Он не знал, что такое «чмо», но это наверняка было что-то презрительное. Хуже плевка в лицо.

Однако оставаться в коридоре он больше не мог, иначе получалось, что он и в самом деле выживает. И, поколебавшись, Андрей тоже вошел в учительскую.

Там гудел кондиционер, и воздух был ледяной, как в салоне самолета. Элина Дмитриевна, накинув белую кофту на плечи (вот зачем ей нужна была шерстяная кофта), сидела за письменным столом напротив двери и вопросительно улыбалась. На широких щеках у нее даже появились ямочки, но мохнатые брови были страдальчески, как у жука, сведены, и глаза глядели настороженно. Перед нею в почти-тельной и в то же время развязной позе стоял Бородин-юниор, но улыбка была обращена не к нему — и уж тем более не к Андрею.

— Женечка! — неискренне воскликнула Элина Дмитриевна и, покраснев, тяжело поднялась из-за стола с намерением выйти. — Приехала, золотко! Как я соскучилась по тебе! Целый год не виделись. Отдохнуть захотелось, на пляже поваляться, в теннис поиграть? Ну и правильно. Все посольство тебя дожидается!

Не без труда она выбралась на свободное место и, крепко задев бедром угол стола, поморщилась от боли и еще больше зарделась.

«Надо же,— подумал Андрей,— такая молодая — и уже еле колыхается. Что ж дальше с тобой будет, бедняга?»

Девочка и учительница обнялись, потерлись щеками, потом, не сговариваясь, одновременно отпустили друг друга, посмотрелись на расстоянии и снова обнялись, крест-накрест, словно исполняя пантомиму под названием «Андреевский флаг».

— А как выросла, похорошела-то как! — звучным голосом промолвила Элина Дмитриевна. — Настоящая красавица стала!

И только теперь до Андрея дошло, что Кареглазка вовсе не учится в этой школе и что расчеты видятся с нею здесь каждый день лопнули, как мыльный пузырь. «Ну и черт с ней,— мрачно подумал Андрей.— Кобыла здоровая. Другую придумаем, а эту — на Таймыр, и немедля». Но чем упрямее он себе это повторял, тем яснее ему становилось, что ни на какой Таймыр он отправлять Кареглазку не станет, потому что она позарез нужна ему здесь, и если он не добьется от нее

ничего — то вообще ничего не добьется. А вот чего от нее следует добиваться — не было ясно ему самому.

— А вы совершенно не изменились, — вновь отстранившись, с оттенком издевки в голосе сказала Кареглазка. — Все такая же юная.

В ответ на эти слова Элина Дмитриевна собралась было заключить Женечку в свои объятия, но координации действий на сей раз не получилось, и она лишь неловко развела руками, как будто хотела сказать: «Что ж тут поделаешь?»

Нужно было видеть, с какой умильной улыбочкой, деликатно склонив голову к плечу, наблюдал за этой сценой Бородин-юниор. Он, разумеется, не хотел навязывать свое участие в волнующей встрече, но всячески старался, чтобы его умиление было замечено: и пофыркивал, улыбаясь, и похрапывал, дрыгая ножкой, и поглядывал на Андрея, сразу ставшего нужным, как бы приглашая засвидетельствовать, что это историческое событие происходит в присутствии младшего Бородина.

— А может быть, Женечка доучиваться приехала, — не выдержав, сказал он. — Тогда и я остаюсь.

Но его шутливая реплика с намеком на прежнюю дружбу так и осталась без внимания: Кареглазка даже не повернулась на звук его голоса, а Элина Дмитриевна все топталась посреди учительской, не зная, как достойнее завершить церемонию встречи.

— Ну, я пошел, Элина Дмитриевна, — ничуть не обескураженный, деловито сказал Бородин. — Счастливо оставаться. Женечка, пока!

— Да-да, счастливого пути, — рассеянно произнесла Элина Дмитриевна и вернулась к своему столу.

А Кареглазка лишь посторонилась, когда Бородин-юниор проходил мимо.

— Ну, садись, рассказывай, — проговорила Элина Дмитриевна, усевшись за стол и сразу почувствовав себя спокойнее. — Как новая школа? Что с математикой?

Андрей все стоял, прислонившись к дверному косяку за спиной Кареглазки, и не знал, как ему поступить. Выйти вслед за Бородиным? Но с какой стати? Его ведь никто не выгонял.

— Ай, некогда, Элина Дмитриевна, — сказал Кареглазка. — Папончик в машине ждет, все по минутам расписано. Мама просила передать, что Гонконг прислал инвойс.

Элина Дмитриевна с беспокойством взглянула на Андрея, но напрасно она осторожничала: для него эта фраза была словно произнесена на санскритском языке. «Инвойс прислан Гонконгом. Был прислан Гонконгом инвойс».

— Ну что ж, чудесно, — проговорила она. — Надеюсь, на сей раз они ничего не напутали.

— Понятия не имею, — небрежно ответила Кареглазка. — Вы ж без меня выписывали. Я просмотрела — моего ничего нет. Замшевое пальтишко — но, судя по размеру, там ваше.

Послышался негодующий звук клаксона, как бы выговаривающий: «Ты с ума сошла! Ты с ума сошла!»

— Вот, пожалуйста, сердится,— сказала Кареглазка.— Побежала я. Как-нибудь заскочу.

Она повернулась и оказалась лицом к лицу с Андреем. Мальчик отступил в сторону, она толкнула плечом дверь и вдруг, оглянувшись, пыхнула ему глазами в лицо и проговорила:

— Не надо на меня обижаться.

Тряхнула головой и вышла — так быстро, что он не успел ответить ей ничего.

Элина Дмитриевна молча приняла от Андрея школьную папку, двумя розовыми странно тонкими для ее комплекции пальчиками развязала замызганные тесемки и, слегка шевеля губами, принялась перелистывать бумаги. Нет, она ни разу в жизни не была в **красной палатке**... и, может быть, никогда туда уже не попадет.

И, словно эта фраза была произнесена вслух, Элина Дмитриевна вздрогнула, подняла голову и вопросительно посмотрела на Андрея. Что-то в выражении его лица ей не понравилось, потому что, выждав паузу, она сухо сказала:

— Итак, Тюрин Андрей, если судить по твоим бумагам, ты окончил седьмой класс на «отлично». Я за тебя очень рада. Но напрасно ты думаешь, что вот этот листочек,— она положила руку, украшенную браслетами и перстнями, на справку с его оценками за год,— напрасно ты думаешь, что эта бумажка облегчит тебе жизнь в восьмом классе.

«Так,— сказал себе Андрей,— на второй год не оставляют,— и то хорошо. Пока все идет по-писаному. Сейчас начнутся общие словеса».

— Твои родители приехали сюда выполнять интернациональный долг, оказывать помощь развивающемуся государству,— высоким звенящим голосом заговорила Элина Дмитриевна. Она, должно быть, злилась на себя за то, что краснела тут перед каким-то щербатовцем, и теперь намеренно распалялась и ожесточалась, чтобы румянец выглядел естественно. Мы так тоже умеем.— Ты также приехал не отдыхать, твой долг — учиться, это твоя святая обязанность. Если ты придерживаешься мнения, что наша школа работает в щадящем режиме, по какой-то урезанной, облегченной программе, то ты глубоко заблуждаешься.

«А вот уж это ошибочка ваша, дорогая Элина Дмитриевна. Так настоящие учителя не говорят. Они даже мысли не допускают, что школьник может допустить такую мысль».

— Вот — Женя Букреева, прекрасная девочка, примерная ученица, шестой она окончила у нас на одни пятерки — и заработала их **честным** трудом...

«Позвольте, на что вы, собственно, намекаете?»

— Теперь она учится в спецшколе с математическим уклоном, собирается стать экономистом-международником, и я думаю, у нее получится.

«Ну, я-то здесь при чем?»

— Не последнюю роль здесь сыграла и та подготовка, которую она получила в стенах нашей школы. К чему я все это говорю?

«Да, вот именно, к чему?»

— Не стоит слишком полагаться на эту бумажку...

Элина Дмитриевна помахала в воздухе шербаховской справкой.

— Справедливость выставленных здесь оценок тебе еще придется доказать, — продолжала Элина Дмитриевна, и, видимо, это была ключевая фраза, стоившая ей душевного напряжения, потому что она густо покраснела, и даже шея ее покрылась багровыми пятнами. — В начале будущего учебного года ты напишешь контрольные работы по основным предметам и постарайся подтвердить, что ты действительно с отличием переведен в восьмой класс. Ты меня понял?

— Понял, — ответил Андрей.

— Ну, вот и хорошо, — несколько удивленная его спокойной реакцией, сказала Элина Дмитриевна. — Не обижайся, Андрей, но быть отличником в нашей школе, учиться с внуком Чрезвычайного и полномочного поверенного в делах, тоже, между прочим, отличным учеником — это очень почетно, такой почет еще надо заслужить.

— Хорошо, — сказал Андрей, приняв к сведению это примирительное «тоже». «Тоже, между прочим, отличным учеником...» Придется внуку поверенного потесниться. — А вы, Элина Дмитриевна, в отпуск или здесь останетесь?

Андрей умел разговаривать с учителями, даже с такими трудными, как эта. Сейчас пришло время отказаться от односложного «да, понял, да, хорошо», озадачить вопросом — и дать понять, что перед вами не бубнящая машина, а свое что-то думающий человек.

Элина Дмитриевна исправно озадачилась.

— А почему ты об этом спрашиваешь? — с досадой в голосе поинтересовалась она.

Нельзя было дать ей произнести «это тебя не касается», такие повороты несут необратимый характер.

— Нет, я к чему? — с достоинством проговорил он. — Я к тому, что мне до первого сентября все равно нечего делать. Может быть, вам нужна помощь по школе.

Какое-то время Элина Дмитриевна смотрела на Андрея, потом перевела взгляд на пустынную стену учительской.

— А что ты умеешь? — с сомнением спросила она.

Все это напоминало операцию по найму шабашника, мастеровитого мужичка, уклончиво предлагающего свои навыки и умения.

— Стенгазеты делал, классные уголки оформлял, спортивные листки чертил, — степенно сказал Андрей, — вообще все такое, если под руку тушь, гуашь и плакатные перья. Ну, и ватман, конечно...

— Послушай, Андрей, — с живостью остановила его Элина Дмитриевна, — ты и в самом деле явился в добрый час. Тут через две недели к нам приезжает человек из Москвы, а у нас как-то очень казенно...

«Вот это уже другой разговор, — сказал себе Андрей. — А то — «доказать, подтвердить, заслужить...» Я уеду — а вы еще долго будете меня помнить».

Андрей шагал по улице и мысленно на все лады повторял: «Не надо на меня обижаться. Обижаться на меня не надо. Не надо обижаться на меня». Фраза была такая богатая, что при любой перестановке в ней можно было найти новый смысл: от признания грешницы («Да, я скверная, я злая, обижаться на меня просто бессмысленно») до лукавого приглашения: «Ну, посмотри на меня. Разве можно на меня обижаться? Текстологический анализ подобного рода занимает в наших мыслях куда больше места, чем мы сами предполагаем, хотя осуществляется он далеко не так последовательно, как это выглядит на бумаге. Мальчик инстинктивно, не отдавая себе отчета, занимался самолечением, зализывал нанесенную ему душевную ссадину — и в конце концов утешился, добившись того, что повод, по которому были сказаны эти слова, растворился в комментариях и утратил свою реальность.

Тут на противоположной, солнечной стороне Андрей заметил Ростислава Ильича. Ростик-Детский, одетый чрезвычайно элегантно, при галстуке, в белых брюках и темном пиджаке с университетским значком, подпрыгивающей походкой шел по вздыбившимся плитам тротуара и, сладко жмурясь, наслаждался небесным теплом. После вчерашнего Андрей испытывал к нему искреннюю симпатию и благодарность. Видимо, симпатия была взаимна, так как, заметив мальчика, Ростислав расслабился и замахал рукой, приглашая к себе, на свою сторону. Андрей покачал головой и показал пальцем вверх, где солнце над ним заслоняли кроны акаций. Дело было не в солнце, а именно в благодарности: непосредственная близость адресата часто делает это чувство довольно-таки тягостным, особенно если адресат и сам полагает, что ему причитаются. Так они шли параллельным курсом, потом Ростислав Ильич, махнув рукой, по-стариковски суетливо перебежал улицу и оказался рядом с Андреем.

— Я вижу, ты быстро освоился, не боишься в одиночку гулять! — Он потрепал Андрея по плечу, а точнее — по лопатке, потому что ростом был ниже, и до плеча соседа ему еще нужно было тянуть руку. — А я, понимаешь ли, после Союза никак не могу отогреться, настолько прозяб! Ну, как в «Эльдорадо», преддверии ада? По-прежнему вымогают и хамят?

Чтобы поддержать разговор на том же уровне форсированного оживления, Андрей пожаловался на мистера Дени.

— Да, брат, к этому надо еще привыкнуть, — сочувственно сказал Ростислав Ильич. — Мы его за угнетенного держим, а он просто хам и уважать будет лишь того, кто способен на него наорать.

Андрей молчал. Все, что высказывал Ростик-Детский, было настолько не то, что вызывало ожесточенный протест и какую-то физиологическую реакцию, похожую на мелкотемпературный озноб. Если это и была правда, то правда слишком уж голая, обогащенная, радиоактивная, частному лицу не положено такой правдой владеть и тем более предъявлять ее первому встречному.

— Но, с другой стороны,— продолжал Ростислав Ильич, увлекаясь,— есть какая-то обидная странность в том, что нас нигде не любит обслуга. Я бывал в других странах — и, поверь мне, знаю, что говорю. Даже не поймешь, в чем тут загвоздка. Может быть, и в том, что мы — страна победившей челяди, праправнуки дворовых людей. Вспомни, с какой гордостью мы говорили друг другу, что слуг у нас нет — как будто это бог весть какое достижение. «Слуги, слуги, накладите ему в руки!..» Читал ли ты «Записки Пиквикского клуба»?

Андрей кивнул.

— Так вот,— продолжал Ростик-Детский,— кого у нас в стране не хватает — так это умелого, расторопного и доброжелательного слуги, типа Сэма Уэллера. Наша собственная обслуга угрюмо гадит нам в руки, и, видимо, это как-то впечаталось в наш облик и вызывает соответствующую реакцию челяди закордонной. Во всяком случае, дело не в нашей бедности, жадности и скупости. Мы сорим деньгами за рубежом, как безумные, считаем каждый тугрик — и тут же расстаемся с ним в обмен на какую-нибудь ничтожную услугу. Даже так: чем более нагло нами помыкают — тем больше мы оставляем на чай. А чем больше мы оставляем на чай — тем наглее нами помыкают...

Андрей встревожился: слишком близко, болтаячи, подобрался Ростислав Ильич к тому, что творила с прислугой мама Люда. Может быть, он в самом деле подсадной? Из какой-нибудь «Комиссии по консервам при Аппарате советника»... Он покосился на семенившего рядом старичка — нет, никаких тайных целей Ростик не преследовал. Просто он не умел разговаривать с мальчишками, слишком старался, пыжился, тщился, все пытался в себе заинтересовать, как это часто делают бездетные люди... Вдруг, перехватив взгляд Андрея, Ростислав Ильич резко себя оборвал, нахмурился, передернул почему-то плечами — и до самой калитки офиса не проронил больше ни слова.

У калитки собралось все тюринское семейство. Мама Люда пришла в огненно-красном сарафане с широкой накидушкой, со стороны обе смотрелись очень загранично, в особенности рядом с отцом, на котором был все тот же пиджак с обвисшими карманами. Отец нетерпеливо поглядывал через плечо на калитку, а мама Люда о чем-то быстро и горячо говорила, подпрыгивая и заглядывая снизу ему в лицо. Андрей совсем не был рад ее видеть: он знал, что у звягинских сегодня собрание, на котором будут официально представлять отца, и ему *очень* нужно было посмотреть, как все это произойдет, принимают ли отца как равного или держат за человека, который здесь не по праву. Мальчик понимал, что пройти на территорию офиса среди бела дня будет трудно, но надеялся, что за чьей-нибудь спиной ему удастся добраться до почтового павильона, а оттуда, как на ладони, видно киноплощадку, на которой и происходят собрания групп. Но с приходом мамы Люды и сестренки это рискованное предприятие становилось попросту невозможным...

Иван Петрович извинился перед Ростиком за вчерашнюю накладку с машиной.

— Ничего страшного,— сухо улыбаясь, сказал Ростислав Ильич,

— если не считать той малости, что мне пришлось поднять господина интенданта к себе, и там в ожидании машины он истребил все мои холостяцкие спиртные запасы... пока его водитель катал по городу своих родственников. Так что с вас причитается. Можете отдать овощами.

И, насладившись замешательством Ивана Петровича, Ростик промолвил: «Тысяча извинений», — и прошмыгнул в калитку.

— Кто тебя тянул за язык? Ну, кто тебя тянул за язык? — накинулась на отца мама Люда. — «Ах, извините, ах, простите...» Аристократ разлинованный!

На это Иван Петрович ничего не ответил, и, успокоившись, мама Люда вернулась к прерванному занятию: стала давать инструкции, как отец должен вести себя на собрании, какие слова говорить и на чем настаивать.

— Ты не сиди тюфяком, — настойчиво внушала она Ивану Петровичу, — выступай поактивнее. Руку тяни, реплики подавай с места, чтобы в протоколе твое имя чаще встречалось. Просидишь молчком — считай, что не было тебя. Что молчать-то, чего стесняться? Ты не убогий какой-нибудь. И требуй, требуй себе общественную нагрузку. Без этого нам и полгода здесь не просидеть. Преемник наш, наверное, был не дурак, десять месяцев без дела сидел — и никто не заметил. А почему? Да потому, что наверняка у него была общественная нагрузка. Вот и выясни, чем твой преемник занимался...

— Предшественник, мама, а не преемник, — поправил ее Андрей.

— Отстань с глупостями, — отмахнулась мама Люда.

Так она проявляла себя в минуты волнения: начинала осыпать всех ближних инструкциями и указаниями, не заботясь о том, станут они выполняться или нет — и выполнимы ли вообще. Что же касается путаницы с предшествованием и воследованием, то, похоже, причинно-следственная связь была для мамы Люды обратимой.

Так они стояли и разговаривали, а вокруг офиса тем временем кипела дневная жизнь. То и дело, тихо шуруша, подъезжали «дацуны» и «тойоты», мягко чмокали дверцы, и через калитку, нажимая черную кнопку и называя фамилию, проходили озабоченные молодые дядечки в одинаковых белых рубашечках, с одинаковыми чемоданчиками в руках, в одинаковых роговых очках с коричневатыми стеклами «фото-браун». Автоматический запор беспрестанно лязгал, дядечки входили и выходили, как-то досадливо отворачивались от семейства Тюриных, хотя в их собственных холеных лицах просматривались орловские, владимирские и щербатовские черты.

Подошел Горошук. Даже в пиджаке и при галстукe генеральский зять был похож на лохматого бродягу, таких в Щербатове по старой памяти называли битниками, и Андрей еще помнил, как дружинники отлавливали их на улицах и били. Едва завидев Горошука, Андрей почувствовал, что сейчас «Егор» будет подначивать и глумиться. Он не ошибся.

— Привет ленинградцам, — ухмыляясь, сказал Игорь и очень

смешно подморгнул Андрею, о чем можно было догадаться лишь по шевелению толстого носа и бомбардирских очков.

— Мы не ленинградцы, — напрягшись до дрожи, тихо ответил Андрей. — Мы из Щербатова, у вас плохая память.

Увы, прием, «защита через нападение» не сработал, подлое лицо снова изменило Андрею: уши загорелись, в щек стала толкаться кровь, верхняя губа раздулась, как будто именно ее обидели.

— Это одно и то же, дружище, — возразил Игорь Валентинович, — вы вместо них, а значит — одна сатана.

И, торжествуя, он удалился.

Странное дело: дома, в Щербатове, Андрей даже в мыслях не мог допустить, что когда-нибудь ему придется вот так, почти на равных, препираться с вузовским преподавателем... а Горошук был, ни много ни мало, кандидатом каких-то биологических наук. Институт в Щербатове был храм, кафедра — алтарь, высшая математика — религия для избранных, мама Люда перед всем этим благоговела, давая Андрею основания предполагать, что студенткой она была посредственной и нерадивой. На работе у отца она появляться боялась — и сыну передала этот страх. «Нечего нам с тобой, сыночек, там делать. Высшая школа — это высшая школа, и папа наш там совсем другой человек». Здесь, в Офире, звягинские были как-то не очень красиво и даже неприятно доступными... Может быть, думал Андрей, все от жары: ходят при детях растелешенные — и перестают стесняться.

Тут к самой калитке подкатила белая осадистая «Королла», и из кабины вышел плотный ухоженный мужчина с двойным подбородком и пышной черно-голубой сединой. Мужчина был в светло-голубом и, видимо, очень прохладном костюме, пиджак распахнут, широкий галстук умопомрачительно яркой росписи покойно лежал на животе... И по этому расписному желто-лиловому галстуку, служившему, видимо, для всех аппаратчиков эталоном, да еще по страху, метнувшемуся в отцовских глазах, Андрей понял, что перед ним советник, и от волнения у него перехватило горло. Советник, сам советник! Это слово, как свечение, нет — как огненный контур, очертило фигуру Букреева, и мальчику даже показалось, что по седине вельможного человека пробегают, потрескивая и вспыхивая лиловым, электрические искры.

Виктор Маркович с отеческой благожелательностью посмотрел на семейство Тюриных и едва заметно кивнул. Лицо у него было величественное, иконописные глаза в темных веках даже красивы, неприятен был лишь маленький хрящеватый носик с круто вырезанными трепещущими ноздрями, имевший такой напряженный и ищущий вид, как будто он все время к чему-то принюхивался.

Вот, взволнованно думал Андрей, вот человек, которому не нужно краснеть, он никогда не боится, потому что достоин. Как он прошел мимо, как взглянул, зная все насквозь, и про Розанова, и про ленинградцев, и про скандал на таможне, и про уплывающие налево консервы... Взглянул — и простил, пока простил, на первый случай. Что Эндрю Флейм, жалкий переросток, с его позывами к справедливости! Стать советником и вершить окрест себя добро и порядок — вот един-

ственная достойная цель, вот единственный, открывшийся ему в эту судьбоносную минуту путь к выполнению своего предназначения. Разумеется, мальчик не думал об этом в таких словах, он вообще не думал словами, все сказанное выше уместилось в два отстука сердца. Только так. Только так.

Минуту стояло молчание. О чем думали родители, глядя на захлопнувшуюся за Букреевым калитку, Андрей не мог даже догадываться — так же, как и они не могли даже подозревать, о чем думает сейчас их мальчик.

— Ладно, пойду, — проговорил Иван Петрович, но в это время калитка распахнулась, и в розовом кружевном платье, в широкополой белой шляпе, высокая и статная, вышла советница. Людмила Павловна торопливо сказала «Здравствуйте», Иван Петрович поклонился, Андрею полагалось, должно быть, шаркнуть ножкой, но советница холодно посмотрела на них, как на стайку уличных воробьев, и, не ответив на приветствие, села в машину.

— Подожди, пусть уедут, — шепнула мужу Людмила, — не надо путаться под ногами.

Так они стояли, переминаясь, а мадам советница глядела на них сквозь голубые стекла кабины. Наконец вернулся Букреев. Он распахнул дверцу машины, заглянул вовнутрь, галстук его свесился до самого тротуара.

— Ну, что ты за копуха, — раздраженно сказала из кабины мадам советница. — Вечно тебя приходится ждать.

— И еще подождешь, — негромко, но тщательно проговаривая слова, ответил Букреев. — Мне Звягина повидать надо.

— Ну, и целуйся со своим Звягиным, — сказала мадам, — а я больше здесь торчать не намерена. Отвези меня в посольство и возвращайся, если тебе так нужно.

— Прекрати, — покосившись на Тюриных, проговорил Виктор Маркович, — здесь люди.

— Кстати, — сказала мадам, — не мог бы ты втолковать своим людям, чтобы они не ходили по городу такими попугаями?

Букреев медленно повернул голову, пошевелил ноздрями своего незначительного носика.

— Ну, ладно, Ванюшка, — поеживаясь и поправляя огненную накидку, пробормотала Людмила, — мы побежим.

Но было уже поздно. Пружинистой, несколько нарочито элегантно подрагивающей походкой кавалергарда Виктор Маркович приблизился к Тюриным.

— Здравствуйте, — изящно складывая и разжимая красивые губы, проговорил он и подал руку сперва маме Люде, потом Ивану Петровичу, потом, помедлив, Андрею. И даже это промедление показалось мальчику исполненным высокого смысла. Он с замиранием сердца пожал сухую и холодную руку советника: ему как будто бы в этот миг передавалась эстафета бессмертного Я, в него как будто бы переливалась голубая и лунно-холодная кровь... Он даже на секунду почувствовал себя ИМ — и у него закружилась голова. Дозаправка в воз-

духе... Андрей почти уверен был, что при этом советник негромко сказал: «Этот юноша пойдет далеко».

— Ну, как устроились? — спросил советник и, не дожидаясь ответа, сказал: — Если у вас ко мне какие-то вопросы, то на улице караулить меня не нужно. Запишитесь у дежурной — и в течение десяти дней я постараюсь вас принять.

— Нет, нет, спасибо вам огромное! — залепетала Людмила, как бы пунктиром обозначая, что она — женщина, и пользуясь особым голоском, который Андрей называл «заплаканным». — Мы только мужа провозили. Он на собрание пришел, а мы уже уходим. К врачу хотим забежать, у девочки что-то с животиком.

Букреев внимательно ее дослушал.

— И ты тоже Тюрина? — обратился он к Настасье с непередаваемой интонацией руководителя, беседующего с народом, как бы заранее досадуя на неуместный ответ.

— Тоже Тюрина, — задрав голову, серьезно ответила Настя. — А вы — Букреев?

— Да, я Букреев, — сказал ей Виктор Маркович. — Чем могу быть полезен?

— Ничем, — ответила Настасья. — Вы нас не вышлете?

— Смотря как будешь себя вести.

И, сказав это, Букреев круто повернулся на каблуках и пошел к машине. Его мадам, глядя в сторону, всем своим видом подчеркивала, что устала от этих демократических причуд.

— Какой человек! — восхищенно проговорила Людмила, когда машина отъехала. — Подошел, поздоровался за руку, поговорил... Нет, Ванюшка: при таком руководстве ты должен требовать как минимум справедливости. Ну ладно, ступай, тебе пора, а мы пошли к доктору Славе.

Андрей заколебался: сказать, что он хочет остаться и послушать? Да нет, конечно же, нет, мама Люда придет в ужас, а отца его присутствие будет стеснять, и лучше, если он вообще ничего не узнает. Значит, что? Значит, нужно увести женщин подальше от калитки, а после — по обстоятельствам.

Обстоятельства, как оказалось, благоприятствовали его планам. Едва расстались с отцом и завернули за угол, как услышали звенящий оклик:

— Тюрины! Стойте, Тюрины!

И они, оглянувшись, увидели Аниканову Валю. В коротком халатике, обтягивающем ее туго, как репку, Валя широкими энергичными шагами догоняла Тюриных, волоча за собою прогулочную детскую коляску.

— Мама, там Иришка, я не хочу! — захныкала Настя.

Но она ошибалась: в коляске лежала хозяйственная сумка, набитая пакетами гречки, риса и муки. В наряде домохозяйки Валентина выглядела куда проще и доступнее, чем в балахоне первой леди, и даже речь ее приобрела простонародные черты.

— Вот — отоварились на складе, — запыхавшись, сказала Валя, —

кому нельзя, а мне — пожалуйста! Что значит сила искусства! А вы куда держите путь? Не ко мне ли, случайно? А меня дома нет. Ха-ха-ха Шутка, конечно.

Андрею было стыдно смотреть на нее: застиранный блеклый халатик ее был так тесен, что расходился между пуговицами, как наволочка на пуховой подушке, в самых потаенных местах, а на боку чуть выше талии вообще был порван и широко открывал чисто-белое, совсем не загорелое тело.

— К врачу? А зачем вам к врачу? — Аниканова так возмутилась, как будто намерение Людмилы было оскорбительным лично для нее. — Лекцию о погоде он вам прочитал? Про сертификаты в плавках рассказывал? Чего вам еще от него понадобилось?

— Да вот... животик у девочки, крутит и крутит.

Лицо у Аникановой стало светски-любезным.

— После ресторана «Эльдорадо»? — осведомилась она.

— Что ты, что ты! — с притворным ужасом замахала на нее руками Людмила. — Там зараза одна. Открепились и справку взяли, сами готовим.

Валентина на секунду огорчилась, но тут же, видимо, сама позабыла, о чем спрашивала.

— Так вот, слушай меня с предельным вниманием, — зловещим голосом, наклоняясь к маме Люде, заговорила она. — Во-первых, про животик никому лучше не заикайся. Хочешь, чтобы вместе с дочкой выслали? Или чтоб в Центральный госпиталь ребенка твоего законпатили — без права посещения?

— Ну, уж так сразу и в госпиталь, — пробормотала мама Люда, испугавшись, а Настя вцепилась в своего «Батю». — А если я хочу посоветоваться?

— Нет, это просто непостижимо уму! — вся вибрируя от странного восторга, звонко выкрикнула Валя. — Посоветоваться! Да у доктора Славы один разговор: не в госпиталь — так на родину поезжай. Доктор Слава, если хочешь знать, никогда живых больных не видел...

— Это как? — не поняла мама Люда.

— А вот как! — Валентина снова захохотала. — В морге он работал. Да шучу, шучу. Административный работник, всю свою жизнь бумажки перебирал, а как сюда попал — я думаю, не нужно тебе объяснять...

Андрей напрягся — но поплавочек стоял неподвижно, как будто вплавленный в зеленое стекло. «Не нужно тебе объяснять... Не нужно тебе объяснять... Уж тебе-то, конечно, этого объяснять не нужно, уж ты-то знаешь, как такие становятся достойными...» Может, прошло? — с надеждой спросил он себя. Отпустило? Привык? Нет, душа, как и прежде, болела, в волдыри изожженная стыдом. Просто сейчас этот стыд перекрыт был другим, более простым и сладким: Валентина теснила его, обступала его со всех сторон, хотелось куда-нибудь от нее деться, пропасть, провалиться сквозь землю...

— Здесь, моя милая, не принято доктора Славу своими болячками беспокоить... — Голос Валентины был мучительно звонок, надавить бы какую-нибудь кнопку, чтоб его отключить. — Все со справками сюда

приезжают, все практически здоровы. Это просто ваше счастье, что вы меня встретили. Прямо в паутину к нему летели, а он именно вас и сидит дожидается. Это же страшный человек!

— Погоди,— остановила ее Людмила.— Почему именно нас дожидается?

— О, господи! — Аниканова театрально возвела очи горе и выдержала паузу.— Да потому, что проторчал он здесь пять лет, и сейчас вопрос о шестом годе решается. Представляешь? О шестом! Очень строгий он стал, чтобы рвение и бдительность показать. Теперь срубила? У него и так за шкурой много блох. Жена консула к нему чадо свое привела, так он — представляешь, жена консула, не какого-нибудь Сидора Кузьмича! — он посев кала на стеклышко сделал, вместо посева крови, ты меня поняла? И послал это стеклышко в лабораторию Центрального госпиталя. Там врачи из Швеции кишки себе надорвали. Это ж ляп, это ж надо как-то загладить: кого-нибудь излечить — или вас, чудаков, на родину отправить. А ты кресло у него видела? Из Парижа выписал, на казенные деньги, вот он у нас какой, доктор Слава. Собирался платное обслуживание наших женщин налаживать. Ну, тут пригрозили ему, затих... Что ты так гримасничаешь? Что моргаешь?

Аниканова с жадным, звенящим и сверкающим любопытством заглянула ей в лицо, потом повернулась к Андрею.

— А, сын... Да не понимает он ничего! Молочный совсем.

Тут глаза ее заблестели каким-то странным стеклянным блеском, и она, сделав попытку стянуть на груди расплывшийся халатик, вдруг без всякой связи с разговором сказала:

— Растолстела я что-то последнее время. Все консервы и крупы проклятые...

— Ладно, я пойду,— буркнул Андрей, поспешно отворачиваясь, чтобы Валентина не успела увидеть его ошпаренное стыдом лицо.

— Никуда ты не пойдешь,— властно сказала Валентина.— Ты нам нужен.

И, считая, должно быть, что Андрей должен теперь стоять как вкопанный, она вновь обратилась к маме Люде.

— Пошли ко мне. У меня, как в Швеции, все лекарства есть. В долг могу дать — или оплатишь в зарплату чеками. Мужчины на собрании, Андрей с наглыми нашими девками посидит, а мы с тобой помучимся, Горького почитаем.

— Горького? — переспросила Людмила, и Аниканова рассмеялась.

Зубы у нее были ослепительные, белые, как сахар, и она об этом знала. Но оснований командовать чужими сыновьями это ей не давало.

— Мама, я пойду,— упрямо повторил Андрей.

И, к его удивлению, мама Люда его поддержала.

— Сходи, сыночек, к папе, сходи,— сказала она.— Предупреди, чтобы знал, где нас искать. А хочешь — подожди его там, в беседочке, газетки посмотри, вместе и придете.

— Ну, вот еще, газетки... — недовольно проговорила Валентина.— Делаешь из парня пенсионера...

«Но не няньку», — подумал Андрей и, не сказав больше ни слова, пошел назад, к офису.

На углу он обернулся: желто-голубая Настасья обреченно плелась между двумя женщинами, и по спине ее видно было, что она не ждет ничего хорошего от судьбы.

14

Калитка офиса оказалась приотворенной: видимо, кто-то из группы Звягина не захлопнул ее за собой, а дежурной было лень подниматься, и она сидела, глядя в свое окошечко, и ждала, когда кто-нибудь появится. Лицо у нее при этом было приветливо-строгое, как у дикторши первой программы Центрального телевидения. Появился, однако, не тот, кому положено, и, когда Андрей ступил на коврово-гравийную дорожку, дежурная выбежала ему навстречу — с покосившейся высокой прической и искаженным от гнева готическим лицом. Административные женщины предпочитают высокие, пышно взбитые прически, это Андрей уже успел заметить, хотя объяснения этому феномену не искал. Зная, впрочем, что разумное объяснение непременно имеется.

— Куд-да? — зашипела дежурная, растопырив руки, и даже присела, как будто Андрей собирался прошмыгнуть у нее между ног. — Куда идешь, тебя спрашивают?

Была она, по рассказам Валентины Аникановой, женой представителя «Сельхозтехники», фигуры в аппарате советника очень влиятельной, и ходила в подругах самой Надежды Федоровны, ей давно уже перевалило за сорок, однако звать ее полагалось исключительно «Ляля».

— Газеты иду просматривать для политчаса, — ответил Андрей, зная, что слова «конференция», «семинар» и вообще все, что начинается с «полит-», действует на взрослых парализующе.

И точно: лицо Ляли привычно соскучилось, словно ее охватила унылая дремота, и она отступила, давая Андрею дорогу к беседке. Но, когда мальчик проходил мимо нее, она машинально взглянула на застиранный ворот его белой тенниски — и содрогнулась от злобы. Как-то в Щербатове, возле временного моста, Андрей проходил мимо сложенных в штабель металлических труб, была весенняя теплынь, и все равно его удивило, что из прогретых солнцем труб на него пахло жаром. Точно такой же тепловой импульс был и здесь.

— Усмехается еще, дрянь такая, — проговорила Ляля.

Андрей вовсе не усмехался. Он как раз думал: что такое у нее в голове? Почему она его так ненавидит? Сторожевой инстинкт... Нет. Классовая ненависть хорошо одетого человека... Опять-таки нет: мы тоже не лыком шиты. «Она чувствует во мне переходящее Я — и боится. И правильно боится. Я ее передумаю».

— Я не дрянь, — сказал Андрей, остановившись и глядя ей в лицо. — Я не дрянь, я советский человек, ясно? Такой же человек, как и вы.

Жаркий день разгорался. Ни ветринки, ни облачка, самый воздух, казалось, разъедал глаза чем-то резким, словно с неба, на которое было больно взглянуть, беспрерывно сыпался сухой золотой порошок.

В этом движущемся знойном свете неподвижно и отдельно застыл каждый жесткий лист, каждый папиросно-бумажный цветок, каждый высушенный прутик.

Миновав алебардно-кинжальные клумбы, Андрей вошел в павильон, на ходу доставая из кармана штанов перочинный ножик. Ступил на скрипучий дощатый пол, с удовольствием окунувшись в пахнущую стружкой деревенскую осень, подошел к дальней стенке с ячейками, аккуратно соскоблил с перегородки фамилию «Сивцов» и написал огрызком карандаша «Тюрин».

Выполнив таким образом сыновний долг, он обстоятельно расположился за столом с подшивками (в библиотеках и читалках он чувствовал себя как дома) и с удовольствием отметил, что деревянную решетку еще не успела оплести буйная зелень: отсюда отлично видна киноплощадка, залитая бешеным солнцем, на свежeweбеленный бетонный киноэкран было невозможно глядеть.

Группа Звягина расположилась в центре киноплощадки, на самом солнцепеке. В проходе между рядами сиреневых скамеек, сейчас казавшихся почти белыми, поставлен был небольшой столик на алюминиевых ножках, накрытый зеленой скатертью. За этим столиком спиной к экрану и лицом к решетчатому павильону сидели Звягин и Матвеев, оба в пиджаках и галстуках. Звягин истекал потом и поминутно промокал лицо и шею потемневшим от сырости платком. А вот Матвеев рожден был для президиумов: приплюснутый нос его, синеватые губы, прижмуренные глаза под выпуклым лбом — все излучало прохладное довольство.

Совсем близко, в пяти шагах от решетки павильона (нет, в пятнадцати, решетка сама производила какой-то оптический эффект), среди чужих затылков и спин Андрей видел сутулый загорбок и плохо подстриженный затылок отца. На памяти Андрея Иван Петрович ни разу не ходил в парикмахерскую, тенистый чуб его подстригала мама Люда. По правую руку от отца сидел розовокудрый Ростислав Ильич, по левую — Василий Семеныч, длинноголовый и остроухий, сияющий своей косоплешью, заботливо прикрытую тремя длинными прядями золотистых волос. Еще Андрей отыскал Игоря Горошука, остальные члены группы были ему незнакомы.

Андрей впервые видел отца в академической среде. Он испытывал естественную для всякого мальчишки потребность своими глазами взглянуть на отца в деловой обстановке и убедиться, что это действительно **другой** человек. Покамест кудрявый затылок отца и его серьезно оттопыренные уши среди других затылков и ушей выглядели вполне благопристойно и даже солидно: никто не хихикал над отцом, не тыкал в него пальцем, значит — он принят как свой.

Между тем Звягин, по лбу которого и по щекам широкими потоками лилась влага, что-то говорил, сурово глядя на решетку павильона. Решетка приближала изображение, но не звук, и слова едва долетали до Андрея, однако темно-красные червячные губы Звягина шевелились очень энергично. Впечатление было такое, что он обращается к самому Андрею. Сидя против солнца, Звягин вряд ли что-нибудь мог разгля-

деть внутри павильона, но на всякий случай мальчик отодвинулся поглубже в тень.

— На сегодняшней повестке, — сердясь на жару и потливость, говорил Звягин, — на сегодняшней повестке у нас три вопроса: представление нового члена нашей группы, утверждение характеристики отъезжающего и отчет о работе группы за истекший период. Собрание важное для каждого из нас, в значительной степени этапное. От того, насколько единодушно и энергично мы его проведем, будет зависеть наше дальнейшее продвижение вперед. Хочу сообщить вам приятную новость: на нашем сегодняшнем собрании обещал присутствовать лично Букреев Виктор Маркович...

Аплодисменты.

— ...что свидетельствует об авторитете нашей группы и о том исключительном внимании, которое уделяет нам аппарат... Что такое, в чем дело?

Раздраженный вопрос этот был обращен к Ростиславу Ильичу, который, встав с места, по-ученически поднял руку.

— Виктор Маркович уехал в корпункт «Известий»! — высоким мальчишеским голосом выкрикнул Ростислав Ильич. — И быть никак не может.

Звягин и Матвеев переглянулись. Осведомленность Ростика им была неприятна.

— Это... надежная информация? — учтиво и в то же время с оттенком недоверия спросил Матвеев.

— Абсолютно! — ответил Ростик и сел.

— Ну, что ж, — вытирая платком шею и лицо, сказал Григорий Николаевич, — в таком случае не будем ждать и начнем. Игорь Валентинович, прошу.

Горощук поднялся.

— В нашей группе — пополнение, — покачиваясь и вихляясь, как второгодник, вызванный к доске, заговорил он. А что Игорь Валентинович мог с собой поделывать? Куда вообще деваются вихлявые юнцы? Вырастают и становятся вихлявыми мужиками. И плодят вихлявых детей. Другого пути у них нету. — На замену кандидату физико-математических наук Анатолию Витальевичу Сивцову прибыл Иван Петрович Тюрин, прошу любить и жаловать.

Игорь театрально протянул руку, отец поднялся и с достоинством поклонился. Он держался прилично, только кромки ушей его покраснели от волнения.

— Иван Петрович — старший преподаватель кафедры математики Щербатовского политехнического института, — продолжал Игорь. — Стаж работы в высшей школе — двадцать лет, опыта работы с иностранцами не имеет. С отличием окончил курсы иностранного языка. Женат, двое детей, за рубежом находится впервые.

Было странно, что Горощук говорит просто и ясно, не пересыпая речь корявыми английскими словами, нарочно переделанными на русский манер. Но таков, наверное, был порядок.



— Есть какие-нибудь вопросы к Ивану Петровичу? — спросил Звягин.

Андрей был уверен, что никаких вопросов не окажется, однако он ошибался.

— У меня вопрос, — поднялся худой, кадыкастый, губастый и очкастый дядечка, похожий одновременно на молодого ученого и на пожилого студента, такие с юности и до глубокой старости выглядят ровно на сорок лет. — Как Иван Петрович понимает цель своей командировки?

Пытка продолжалась, она приняла совершенно изуверский характер. Отец дернулся и раскрыл было рот, чтобы ответить, но его опередил Звягин.

— Надо полагать, Иван Петрович понимает ее правильно, — с нажимом произнес он. — А собственно говоря, Саша Савельев, дорогой наш Александр Сергеевич, какой ответ ты хотел бы услышать? Не в первый раз ты уводишь нас в сторону высоких словес, и всегда я тебе удивляюсь. Может, ты не физик, а лирик? Тогда так и скажи, мы переведем тебя на филфак. Соскучился по болтовне об извечных истинах? Мало тебя пичкало аллилуйщиной предыдущее руководство? Нет, уважаемый, не услышишь ты здесь высоких словес. Мы — реалисты, люди новой формации, мы приехали сюда работать. Работать, а не распускать словесные сопли, в этом заключается наш долг и наша цель. Так понимает это и Иван Петрович Тюрин, я в этом уверен. Если не так — пусть выскажется сам.

Очкарик солидно кивнул, как будто бы получил ответ, за которым обращался, и сел на свое место. Андрей был благодарен Звягину за то, что он не дал в обиду отца, он опасался, что это еще один способ prolongировать мучительство. Так оно и оказалось.

— Ну, что ж, — выждав паузу, сказал Звягин, — если больше вопросов нет, пожелаем коллеге побыстрее адаптироваться в стране пребывания и в нашем коллективе и стать достойной заменой незабвенному Анатолию Витальевичу...

Облегченно вздыхать было рано: интонация последнего слова свидетельствовала о том, что Григорий Николаевич еще не все сказал.

— Хотя надо признать, это будет трудно, — закончил свою реплику Звягин. — Если возможно вообще.

Все дружно захлопали в ладоши, и Иван Петрович опустил на свое место.

Можно было перевести дух... От стыда и муки за отца Андрей весь взмок. Подозрения его окончательно подтвердились: **все все знают**, и с этим уж ничего не поделаешь. Это — данность, с которой придется жить. Спасибо отцу хотя бы за то, что он не успел ничего сказать и не навлек на себя еще большего сраму.

Между тем группа Звягина стала обсуждать характеристику Бородин Бориса Борисовича, который сидел в отдалении от всех, был очень бледен, то и дело приглаживал дрожащей рукой свою черную челочку и делал вид, что снисходительно улыбается. Станным Андрею казалось лишь то, что Бородин уезжает вчистую, пробыв в командировке два года и даже не дождавшись квартиры.

— Реакклиматизации тебе в Союзе, Борис Борисович! — с отеческой улыбкой произнес Звягин, когда характеристика, выдержанная в хвалебном духе, была единогласно утверждена. — Ну, теперь ты вольная птица, не смеем тебя задерживать. Ступай, укладывай багаж, закупай сувениры, если еще не весь рынок скупил, а мы, как говорится, вернемся к своим баранам.

Лицо Бородин, широкое, как блин, с прилизанными наискось черными волосами, маслилось от жары, слова «закупай сувениры» его почему-то обозлили.

— Рано хороните! — тонким голосом выкрикнул он. — Пока я получаю зарплату как член группы, имею право сидеть на собраниях. И докажите мне, что это не так.

— Ну, не знаю, не знаю, — с досадой сказал Звягин. — Ладно, сиди, если тебе делать нечего...

— Мне есть что делать, — возразил Бородин. — Я только хочу послушать, что Матвеев скажет о своей роли при прежнем руководстве.

— А вот это уже личный выпад! — разгневавшись, проговорил Звягин. — В народе о таких говорят: «Мертвый хватает живого». Так вот, Борис Борисович, я знаю, что тебя печет, и удовлетворю твоё любопытство. В полном согласии с Букреевым Виктором Марковичем...

Аплодисменты.

— Погодите, дайте договорить! — подняв руку ладонью вперед, повысил голос Звягин. — В полном согласии с аппаратом советника руководство группы решило поставить перед инстанциями вопрос о продлении пребывания Матвеева Владимира Андреевича еще на один год, и предварительная разведка показала, что этот вопрос будет решен в самое ближайшее время — и решен положительно. Надеюсь, моих слов достаточно, чтобы наступить на язык кое-кому, кто так и не сумел отрешиться от слуховщины предыдущего периода, от аникановщины, как ее назвал, выступая в январе перед нами, товарищ Букреев, да простит меня Василий Семенович за то, что я называю вещи своими именами, меня вынуждают напоминать о прошлом...

Аниканов мило улыбнулся и ничего не сказал. А Андрею почему-то вспомнился обрывок новогоднего розового серпантина, зацепившийся за деревянный клык...

— Позвольте! — задыхаясь, Бородин поднялся.

— Я еще не кончил! — побагровев, гаркнул Звягин. Удивительно, какой диапазон был у его голоса: от певучего говорка до мощного баса.

— Нет уж, позвольте! — фальцетом выкрикнул Бородин. — Курс лекций Матвеева по экономической географии полтора года назад завершен, да-с, завершен, и никакой нагрузки у него нет вообще. В течение восемнадцати месяцев, дорогие друзья! Я поражаюсь, как Владимир Андреевич еще не повредился в рассудке за эти полтора года, как у него восемнадцать раз поднималась рука расписываться в планетных ведомостях. Непотопляемый товарищ: при Аниканове он пел романсы, при Звягине сочиняет отчеты. Неудивительно, что руководство продлевает его на очередной год — чтобы он бродил по своей

колоссальной квартире и тихо сходил с ума. Да, я отвечаю за свои слова! Как он поступил с Тюриными, вам известно?

Андрей обомлел. Ну, мама Люда! Ну, сорока! Нашла кому жаловаться...

— А как он поступил с Тюриными? — закричали вокруг. — Что такое? Мы ничего не знаем!

И тут Андрей с ужасом увидел, как рука отца начала медленно подниматься... сначала до высоты плеча, потом выше головы, с судорожно выпрямленными, словно заостренными пальцами. «Что он хочет делать? Что он будет говорить? Папочка, миленький, не надо!»

Лицо Матвеева налилось кукурузной желтизной.

— Давай, Иван Петрович, скажи! — многозначительно проговорил Звягин. — Все, что накипело, что наболело, как это принято между своими. Не в кулуарах, не в гостиничных закоулках, а прямо в лицо.

Оцепенев, Андрей наблюдал, как отец встает, расстегивает пиджак, расправляет плечи.

— С большим недоумением я только что услышал... — невнятно заговорил он.

— Громче! — крикнул кто-то.

— С большим недоумением я только что услышал, что якобы Владимир Андреевич обошелся с нами как-то не так. С любезного разрешения Владимира Андреевича мое семейство провело под его кровом сутки — в ожидании, когда освободится номер в «Эльдорадо». Пользуюсь случаем, чтобы еще раз поблагодарить Володю Матвеева за гостеприимство и раз и навсегда пресечь какие бы то ни было спекуляции на этот счет.

Группа дружно зааплодировала — неизвестно чему: то ли Матвеевскому гостеприимству, то ли Тюринскому заявлению. Бородин пытался что-то кричать, но ему не давали.

Андрей почувствовал облегчение — и что-то вроде сладкой тошноты. «Наверное, так и надо. — вяло подумал он, — наверно, так и нужно делать, когда **недостойн...**»

Тут кто-то энергично тряхнул Андрея за плечо. Это было так неожиданно, что у него чуть не разорвалось сердце. Он обернулся — за его спиной стоял молодой переводчик в рыжих очках с белесыми усами под розовым, совершенно глянцевым носом.

— А ну, давай отсюда, — негромко сказал усач. — И быстро, мухой!

— А что я такого?.. — выбираясь из-за стола и чувствуя себя унылым халдой, пробурчал Андрей. — Кому я мешаю?

— Иди, иди, — парень снова взял его за плечо и легонько, но настойчиво подтолкнул к выходу. — Вопросы еще будет задавать... Советский человек.

Окончание следует

ХОЧЕШЬ БЫТЬ ДЕЛОВЫМ!

Вадик Чмиль мастерски владеет косой,
пилой, лопатой, топором.

В семь лет он впервые сел на коня.

Летал с него на землю не раз,
а сейчас ездит как заправский ковбой.

Он водит трактор Т-16, тяжелый Т-150, грузовик ГАЗ-52.



ФЕРМЕР ВАДИК ЧМИЛЬ

Галина МЫЛЬНИКОВА

Вадик Чмиль сказал:

— Мне всегда хочется чем-нибудь заниматься. Такого дня нет, чтобы сидел без дела. Правда, если честно, два года я все-таки пробездельничал. Ну не совсем, учился, и все же...

Он замолчал. Может, это связано с неприятными воспоминаниями? Я решила вернуться к этому моменту позже.

Мы сидим, прислонившись к теплому стогу. Сено пахнет летом,

которое по календарю уже ушло — начало сентября. Но небо над хутором, где живет Вадик с родителями, братьями и сестрами, по-летнему доверчиво-голубое, как цветки цикория, трава зеленая, свежая, как в июне. Только ветер, напористый, всепроникающий, уже дышит осенним мятным холодком. От него мы и укрылись за уютной спиной стога. Чтобы не спеша поговорить...

Познакомиться с Вадиком по-

мог случай. Ехали мы с фотокором Леонидом Гусевым и зампредом Волынского областного отделения СДФ Еленой Гринченко к Мариет Авксентьевне Демковской, матери-героине, члену президиума правления Украинского республиканского отделения Детского фонда. А точнее, к ее младшей дочери — пятнадцатилетней Валентине, о которой ходила молва как о доброй помощнице матери в ее многотрудных заботах о доме, ферме, где работает Мария.

Хозяйка — красивая, статная женщина с вкусным украинским говорком и властными манерами командира, управляющего многочисленными домочадцами, десятками голов свиней, коров и прочей живности, разместив нас в хате на лавке, огорошила вестью: «А Валентина-то уехала...»

Да, информация, которой располагали, оказалась неточной. Валя, закончив восьмилетку, поступила в ПТУ, уехала в областной центр — Луцк. С Марией в тот момент находилась невестка Вали с пухлощеклой внучкой Алинкой. Дети Марии кто где: кто на учебе в городе, кто на заработки уехал и даже за пределы Волынской области.

— В субботу дети съедутся, хата будет полна, приходите, — приглашала Мария. Она же и рассказывала о других многодетных семьях, проживающих у них в Матейках и других селах Красноволынского сельсовета Маневичского района Волынской области. И в каждой своя Валентина или Валентин — подросток, на котором держится дом, как на взрослом.

Машина свернула с дороги, соединяющей Матейки с центральной усадьбой колхоза имени Су-

ворова, проехала метров два, цать и остановилась. Все. Дальше для нее хода нет. Впереди отливала холодным металлом вода у кого канала. За неожиданной водной преградой картинно раскинулся хутор Ольги Чмиль, названный по имени хозяйки — мамы Вадика. Действительно, местечко с кинематографическим эффектом. Посреди огромного поля — оазис хата, хозяйственные постройки — штабель дров, по краю стожки — в окружении высоких деревьев. Ольга — крепкая, загорелая лицом, в косынке, сбившейся набой (с детьми выкапывала картошку) — прикрикнула на собаку. Впрочем, та не отличалась злобным нравом, гостей встречала доброжелательно.

В детворе, выпавшей во двор, я бы не отличила Вадика. Он был такой же худенький, бело-волосый, как малые и средние дети Ольги Петровны, только ростом чуть повыше. Но когда мы разговорились, я поняла, что передо мной — мужчина, хотя от роду ему всего четырнадцать лет — он только что пошел в восьмой класс.

— ...Переехали на хутор лет семь назад, — продолжал рассказывать Вадик. — Раньше жили там, в селе, он махнул в сторону дороги. — В 81-м родилась Наташа, потом Люда, Руслан, Сергей... Представляете?!

Вадик смотрел мне прямо в глаза, но я не представляла. Если здесь, на хуторе, куда они переехали и где, как считают, еще просторно (это в двух-то комнатах, не считая печь), то что говорить о маленьком, тесном бабушкином

домики, мимо которого мы, оказывается, проезжали?!

Вадик поймал мой недоуменный взгляд и продолжал:

— Но скоро у нас новоселье. Строим дом. Всей семьей. В нем будет семь комнат и еще кладовка. Колхоз помогает стройматериалами. Мы с братьями известь мешаем, кирпич разгружаем, отец с рабочими раствор кладет. Коробка уже готова.

Вадик замолчал. Мы одновременно подумали об одном: жаль бросать хутор. Потому что он у меня спросил:

— Нравится здесь?

— Красиво, воздух, не то что в Москве...

— Это так, — вздохнул он, — но поглядите наверх. Видите прохода?

Я покрутила головой туда-сюда. Наверху только крыша и роскошные шевелюры деревьев, в которых играет ветер.

— Нема свита, — перейдя на украинский, подтвердил он.

— Это значит, ни телевизор посмотреть, ни магнитофон послушать, — с ужасом, почти неприкрытым, воскликнула я.

— Мы привыкли. — Голос у Вадика тихий, спокойный. — Только мать жалко, когда стирает. Это же горы белья. Хорошо, Нина помогает (старшая дочь. — Г. М.). Машина стиральная у бабушки стоит, и телевизор там же. Конечно, много времени уходит на хозяйство. У нас же нет газа. Пока наколешь дрова, пока растопишь печь. Были бы газ и свет, никуда бы с хутора не поехали. Но газа нет и в селе. Все топят печи.

Вадик опять посмотрел на дорогу. Неужели и он уедет в го-

род, куда уже перебрались старшие сестры — Лариса и Валя?

Нет, Вадик хочет остаться в Матейках. Планы такие: после средней школы закончит курсы ДОСААФ, выучится на тракториста. Будет работать в колхозе. Он не может жить без машины, вообще без техники.

— Так когда же ты все-таки бездельничал? — решила повернуть разговор к недосказанному.

Вадик улыбнулся:

— Да было дело. Когда родилась Руслан, мама отвезла меня в Луцк, определила на время в школу-интернат, где и проучился четвертый и пятый классы. Вот там я очень мучился. Не только от того, что скучал по братьям, сестрам, родителям, хутору. Было как-то непривычно ничего не делать. Утром встал — иду в столовую, завтрак готов, столы накрыты. Потом занятия в школе. Снова — обед. Самоподготовка, ужин. Изредка — кружки. Я даже на переменах маялся. Все ребята носят, как угорелые, даже чудно. А я иду к дяде Коле, электрику интернатскому, и помогаю ему, хоть пять — десять минут — там розетку перегоревшую отремонтировать, утюг. А после уроков и вовсе пропадал у него.

— Значит, можешь устранить все неполадки в электросети, отремонтировать все электронгревательные приборы? — спросила я.

— Ну, может, не все, а вот самые элементарные вещи могу делать по электрохозяйству и дома, и где-то в конторе там, школе, — просто ответил Вадик и продолжил: — Я ведь еще отчего

мучился там, в интернате? Привык дома вставать в шесть утра. И сразу — за дела. Видите кормоприготовитель? — Вадик показал в глубь двора, где на пятачке обосновался непонятный механизм: станина с двумя колесами. — Там сечку рубим, бураки и делаем кормосмесь для скотины. У нас ведь корова, телка, свиньи. Мы не можем, как в городе, пойти и все купить — мясо там, колбасу. Вот к осени кабанчика зарежем, мясо засолим по банкам — будем есть солонину и с борщом, и с картошкой. А домашнюю колбасу вы ели?

Я утвердительно кивнула.

— Нет, настоящую вряд ли пробовали, — покачал головой Вадик. — Приехали бы к нам в октябре—ноябре, посмотрели бы, какие окорока, колбасы делают у нас в селе, — пальчики оближешь.

Теперь вздохнула я. Потому что, по крайней мере, у нас в Москве окороков и хороших колбас уже давно не видно. Почему? Об этом у нас еще будет разговор и с Вадиком, и со взрослыми. А сейчас он продолжал рассказывать об обычном дне на хуторе.

—...Скотину покормил. Позавтракал и пошел пасти коров до обеда.

— Своих? — переспросила я.

— Нет, свои рядом с домом, а мы с братьями пасем по найму семь коров наших же односельчан. Витя, ты где? — окликнул он брата, который прятался за стогом и изредка высовывал свою вислоухую головенку, лукаво поглядывая на нас. Витя понял, что его обнаружили, дальше хорониться бесполезно, и вышел из-за стога. Такой же белобрысый, как Вадик,

со смешливыми, острыми глазам

— Вите — десять лет. Вот ним и с Игорьком — тот сейчас школе — и пасем коров.

— Сколько же вы зарабатываете?

— За работу с мая по октябрь — шестьсот рублей.

— Солидно. И как же деньги распределяете?

— Отдаем матери. Она покупает нам ботинки, брюки, платье, пальто для сестренки. Пасу до обеда. Потом иду в школу. В девять вечера дома — там, в школе, и на самоподготовку остаюсь. Снов помогаю отцу — дров наколоть, отремонтировать там что-то хлеву.

— Ну хорошо, летом коровы огород, а зимой, наверное, как в городе, делать особенно нечего.

— Почему? — ответил вопрос на вопрос Вадик. — Да вот не давно у нас лили дожди. Так взял велосипед и потихоньку отремонтировал колесо. Дела у нас всегда есть, хоть летом, хоть зимой. Я не могу понять, как это можно только сидеть и слушать там музыку, как ребята в городе с этими наушниками, закрыв глаза, раскачиваются. Слушай, но рукам-то работу тоже дай!

Вадик поднялся. Его ждала не законченная работа: надо было пока стояли сухие, солнечные дни докосить зеленый клин, что рядом с семейным картофельным полем Лариса и Валентина, заработав отгулы, специально приехали из города, чтобы помочь за время передышки от ливней убрать картошку. По навороченным свежим комьям земли прыгали малыши — Наташа и Люда и, завидев спрятавшийся в комьях желтый клубень, с ра-

достным криком извлекали его из земли и несли к буртам.

А Вадик косил траву — будущий корм для хуторской живности. Коса у него была персональная, с ручкой, специально подогнанной по росту маленького косаря, и тяжелая. Но он привычными движениями легко, без натуги взмахивал косой: вжик-вжик...

Порывистый ветер в открытом поле не охлаждал парнишку, одетого в тонкую рубашку на голое тело: ему от работы было жарко. Вокруг расстилались зеленые поля, рассеченные ровной лентой канала, который сделали мелиораторы. Вадик в нескольких местах перебросил доски-мостики. Это единственная коммуникация, связывающая хутор с селом. Канал тоже давал пищу для обитателей хутора. Вместе с отцом — Зосем Чмилем — Вадик ловил подлещиков, карасей. Варили уху. Чистая вода, вкусная рыба...

Хозяин этой земли — деревенский подросток.

Есть у его ровесников в городе такое понятие: джентльменский набор. Это значит вещи, необходимые для современного молодого человека, а именно: магнитофон (желательно импортный) и кассеты с записями самых современных групп, джинсы (тоже желательно импортные, но не индийские) и мотоцикл. Владелец этих магических вещей — независим, уверен в себе, пользуется авторитетом у ребят и бешеным успехом у девчонок. У Вадика Чмиля и его товарищей тоже есть свой джентльменский набор: это коса, топор, лопата, пила, которыми владеют мастерски, потому как узнавали, что это за инстру-

менты, с малых лет. Лошадь. В семь лет Вадик впервые взобрался на теплую спину норовистого жеребца. Летал с него не раз на землю, а сейчас ездит как заправский ковбой. Но это еще не все. Он водит трактор Т-16 и даже тяжелый Т-150, грузовик ГАЗ-52. Летом помогал отцу, рабочему колхоза имени Суворова, возить силос, фураж, сечку. Худенького, спокойного паренька с тихим голосом знают все колхозные механизаторы. Его частенько можно видеть в гараже, мастерских, где он смотрит, как ремонтируют технику, подсобляет взрослым.

Я его спросила, не дай бог, конечно, но вдруг отец-мать заболеют, — сможет ли он заменить их дома, на ферме?

— Конечно, — без ложной скромности ответил Вадик.

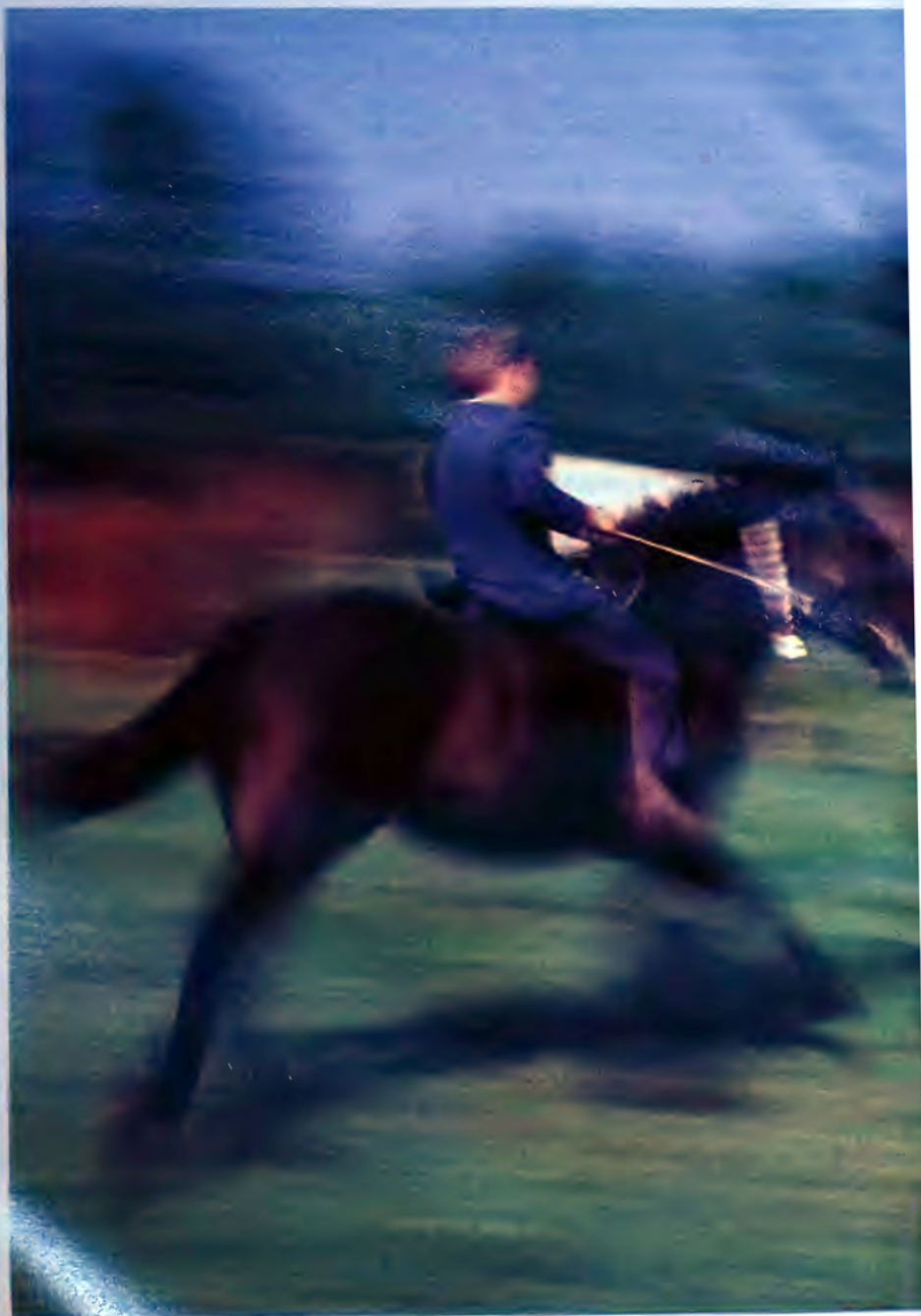
— А как же! — слегка удивившись вопросу, подтвердила его мать.

Такой джентльмен растет на хуторе. Впрочем...

— А если придется драться, ты сможешь постоять за себя? — спросила я Вадика.

— Наверное, смогу, — ответил он и добавил: — Только с кем драться? У меня нет врагов. Один раз в школе пацан напал на Витьку. Ну дал ему слегка разок, и тот отстал. А так у нас драк нет.

Вадик с удивлением слушал про враждующие группировки московских подростков, про «качалки» люберов, секции атлетической гимнастики, где столичные ребята накачивают мускулы для самообороны и опять-таки для мужской неотразимости. Потом закатал рукав рубашки и согнул руку в локте: «Пощупайте!» Под кожей



обозначился крепкий, как камень, мускул.

— Это от работы. Вы не смотрите, что на вид такой худенький, щуплый, я — сильный!

Не для того я сравнивала «джентльменские наборы» городских ребят и сельских, чтобы упрекнуть первых. Знаю, не от хорошей жизни вошли во дворы дощатые бараки юных горожан. Там, в этих бараках, где живут и мальчишки, и девчонки, где слышно, как стучат с тех пор, как появились первые рокеры, где слышно, как стучат с оглушительным грохотом восторженные подружки за спиной, дай им возможность — пересели бы и на ГАЗ-52, и на Т-16, и работали бы за милую душу. Да запрещают инструкции. Права на вождение этими машинами дают только в восемнадцать лет. Вот и у Вадика нет прав. Ездит нелегально, как многие сельские под-



ростки. Механизаторы, обучив их на свой страх и риск, конечно, подстраховывают пацанов и технику безопасности им объясняют, но не могут взять в толк: почему американский фермер не боится посадить четырнадцатилетнего сына на трактор, комбайн, а мы своих подростков отлучаем от техники, развращаем праздностью?

Однако дело не только в перестраховщиках-чиновниках, авторах запретительных инструкций, спугавших детей и подростков по рукам и ногам в их естественной потребности трудиться по-настоящему. Нет и техники, на которой подростки могли бы безопасно работать, — мини-тракторов, комбайнов, грузовичков. И этот острейший дефицит прямо отражается и на пустых прилавках наших магазинов, свидетелях краха Продовольственной программы, торжественно провозглашенной в застойные времена.

Ну и ну? — удивится читатель. Какое отношение имеет эта программа к Вадике, другим подросткам? Связь самая тесная.

Я спросила у Вадика, сколько зарабатывают в колхозе его родители? Цифры, которые он назвал, ошеломили: отец — 30—40 рублей, мама побольше — 90, а бывает и за 100. Об отце он предпочитал особенно не распространяться (не очень-то усерден в работе Зось Чмиль, говорили мне в сельсовете). «Вот мама — крутится как белка в колесе, откармливает на ферме 90 бычков. Только какой-то странный у них на ферме арендный подряд: есть корма и заработок хороший, нет кормов — бычки голодные, и заработок ниже ста рублей, — говорил Вадик. — Сейчас много толкуют об арендном подряде. В школе учителя рассказывали, как семьи берут в аренду фермы, поля, и это выгодно для всех: государство



получает мясо, молоко, семья — хорошие заработки. И мы с семьей могли бы тоже работать на аренде. Но этого у нас нет. Взрослые разбиваются на двух работах — в колхозе и дома, заработки копеечные, молодежь, особенно девушки, уезжают в город, да вот хоть мои сестры. Разве это правильно?» — сомневается Вадик.

Был у нас разговор и со старшими сестрами. Лариса Чмиль поддержала брата. Да, она уехала в Луцк, училась там на курсах, сейчас работает на хлебозаводе. Разве только она одна? Половина юношей и девушек из их Маневичского района осела на этом хлебозаводе. Потому что на селе работы нет, учиться нигде.

Ну и дела?!

Еще в гостях у Марии Демковской я удивилась, почему ее старшие дети обрабатывают свекловичные плантации в Орловской, Тамбовской областях. Мария мне объ-

яснила, что там, беря на подряд большие земельные участки с овощными культурами, молодежь зарабатывает за сезон по несколько тысяч рублей, да еще привозят с собой натуральную оплату в виде зерна и остродефицитного сахара. А у них в колхозе все места на фермах, в полевых бригадах заняты. Даже в школе на место уборщицы было пятьдесят претенденток. Они, ветераны, смирились с грошовыми заработками, а молодежь не хочет. Вот и уезжают, кто на время, а кто и навсегда.

В другой многодетной семье, где мы побывали, у Ивана Евтухевича и Лидии Власовны Демчуков — тоже тревога за свою семью, судьбу детей. Вот Вера, рассказывал отец, учится в десятом классе. Первая помощница матери. Она и малышей накормит, и в хате приберет, и обед приготовит, и лен помогает матери уби-

рать на колхозной деланке. А после одиннадцатилетки собирается в город учиться на кондитера. У них в райцентре одно ПТУ с лесотехническим уклоном. Больше молодежи учиться негде. А разве не нужны им свои кондитеры, хлебопеки? Конечно, нужны. Разве только горожанам лакомиться тортами, пирожными, сдобой?! Но о них, сельских жителях, не думают местные руководители, концентрируя все учебные заведения в городах,— высказывал обиду Иван Евтухевич. А осталась бы Вера — помогала бы семье и материально. Это же курам на смех, какие у них с женой доходы, а ведь надо прокормить одиннадцать душ.

Вместе с Верой мы подсчитали потом эти доходы Демчуков-старших, полученные в колхозе. Вышло на одного члена семьи в месяц... 25 рублей. Если бы не подсобное хозяйство, погибли бы с голоду. Еще спасение — вот уже полгода как работает в недавно созданном колхозном цехе семнадцатилетний Юра.

Шестнадцатилетняя Вера, как и ее родители, считает: если бы они перешли на семейную аренду, выбились бы из нужды, и не подумывали бы родители о переезде на другое место, поближе к городу.

Вадик Чмиль, Вера Демчук, беспокоясь за своих родителей, за семью, высказывали тревогу за молодежь села, своих ровесников — мальчишек и девчонок. Да, Вадик такой человек — твердо решил, что никуда отсюда не уедет, будет механизатором. А может, если дадут свет, газ, обоснуется со временем на хуторе, сделает там капитальную реконструкцию. Но он хочет, чтобы остался

здесь и его друг Василий, и сестры и товарищи по школе. Неужели нет выхода? Ответ на этот вопрос могла дать Советская власть.

Красноволенский сельсовет расположился под одной крышей с правлением колхоза имени Суворова. Прямо перед входом в контору, как называют административное здание сельчане, посередине роскошного цветника из асфальта стоит бронзовый бюст великого полководца.

— Почему имени Суворова? — спросила я секретаря сельсовета Бирука.

— А кто его знает,— пожал плечами Петр Порфирьевич. Так решило общее собрание колхозников, когда мы еще не родились.

Он и председатель сельсовета Владимир Станиславович Гапонюк — еще молоды, нет и сорока лет. Петр раньше работал агрономом, Владимир преподавал в школе. По трое детей и у того и у другого, добрые жены, да сами не промах — дома ведут хозяйство, держат скотину, не какие-нибудь чиновники, бумажные души. Проблемы односельчан, многодетных семей, подростков им хорошо известны.

— Помогаем семьям, делаем все, что в наших возможностях,— говорит Петр Порфирьевич. — И Чмиль, и Демчук строят дома. Выделили им цемент, шифер, пиломатериалы, кирпич. Колхоз помогает и с кормами для скота — выписывает зерно, солому, жмых. Конечно, у нас душа болит, что люди живут еще бедно, что у подростков нет жизненной перспективы на селе, которую дал бы, в частности, и арендный подряд. Что же



мешает его внедрить? Да вы же были на хуторе Ольги Чмиль, сами видели: какие у них орудия? Коса, грабли, топор... — загибал пальцы секретарь сельсовета. — Крестьянин конца двадцатого века не хочет работать дедовским инструментом. Нам нужны минитракторы с набором орудий, чтобы многодетные семьи вместе с подросшими сыновьями и дочерьми могли обработать картофельное поле, зерновой клин, который возьмут в аренду по договору с колхозом. Но сколько мы ни бьемся с машиностроителями, гонят одно и то же: могучие трактора, комбайны «Дон», которые не столько работают, сколько простаивают, а запчасти днем с огнем не сыщешь.

— Если, скажем, Вадик захочет стать арендатором, то в наших условиях быстро прогорит, — рассуждал Петр Порфирьевич, — если только через год-два ситуация в корне не изменится. Потому что при арендном подряде нужна четкость во всей цепочке: и чтобы корма завозили вовремя, и запчасти, какие нужны, ему доставил агросервис, причем немедленно.

— Да, Вадик прав: на странном арендном подряде его мать. Да не странный он, а совсем не настоящий. Их бригада из четырех человек взяла на откорм 360 бычков. Но подряд буксует из-за перебоев с кормами. У нас, на Волыни, это общая беда — бедные почвы. Здесь нет таких сочных, обширных лугов, как у вас в России. Вот почему заниматься коровами, бычками невыгодно. У нас испокон веков разводили свиней. Одна свиноматка ежегодно дает при-

быль в тысячу рублей. Но опять таки загвоздка в технике. Нужны перерабатывающие цеха, копальные заводы по производству колбас, окороков. Колхоз заказывает такое оборудование, только когда будет и в каком количестве, неизвестно.

Вот такой монолог держал секретарь сельсовета. Утешительного мало. И все-таки дело понемногу сдвигается с мертвой точки.

Я упоминала про Юру Демчука, одного из сыновей Ивана Егоровича и Лидии Власовны. Юра после восьмилетки никак не мог найти работу, а уезжать от родителей не хотел. И вот в этом году парень, наконец, определился.

Вместе с председателем сельсовета Владимиром Гапонюком мы зашли в новый колхозный цех по производству конской сбруи. Цех, пожалуй, звучит громко. Это не большой домик из трех помещений — кузницы, пошивочной, склада готовой продукции. Его начальник — высокий обаятельный Владимир Мокичук рассказывал, как долго мучился колхоз, закупая эту, столь необходимую в хозяйстве вещь на стороне, в Литве. За один комплект сбруи платил 76 рублей. И вот полгода назад, закупив необходимые материалы, решили делать сбрую сами.

Владимир пошел в село звать к себе помощников. Но никто не откликнулся. Люди разуверились в том, что из этой затеи выйдет что-то путное. И все-таки наше несколько человек, которые решились рискнуть. Среди них — отец Юры, Иван Демчук, человек с доброй славой большого труженика, для которого дело — не первый план. Демчук-старший

привел Юру: «Помогай, сынок, ибо мне и со строительством дома много забот». Буквально через месяц Юра освоил швейную машину и не очень хитрую технологию.

Мы видели, как, ловко разложив толстую узкую ленту из пеньки на столе, Юра уверенными движениями быстро застрочил на машинке, свернул петлю на конце, снова застрочил — постромки готовы. Он уже умеет работать в кузнице наравне со взрослыми. Начальник цеха им доволен; парень — в отца, трудолюбив, честен. Довольны и родители, ведь Юра приносит в дом ежемесячно 200—220 рублей.

Как только односельчане узнали про заработки в новом цехе, тут же кинулись к Владимиру с заявлениями о приеме на работу, от желающих нет отбоя. Впрочем, как и от заказчиков, которые есть не только в Волынской области, но и за ее пределами. Ведь стоимость комплекта — 57 рублей — намного дешевле литовских. Ежемесячно в колхозной кассе остаются 1300 рублей чистой прибыли.

Развитие на селе подсобных промыслов, вернее, возрождение загубленных безголовыми администраторами, командовавшими сельским хозяйством и вконец его разорившими, — реальная перспектива для молодежи, особенно девушек — будущих невест для Юры, Вадика и других сельских подростков.

Например, Юрина мама, Лидия Власовна, настоящая народная мастерица, в чем мы убедились, побывав у Демчуков дома. Полы устланы разноцветными полосатыми дорожками, которые она

шьет из тряпок, нарезая из них узкие ленты. Все подушки, скатерти, салфетки расшиты ее руками затейливыми узорами. Даже часть стены у кровати расписала дивными цветами, имея под рукой лишь малярные краски. Я спросила у Лидии Власовны, смогла бы она возглавить небольшую мастерскую, артель, цех (назовите как угодно) и по договору со швейными фабриками готовые изделия — блузки, платья украшали бы художественной вышивкой, которая ныне так ценится во всем мире?

— Отчего же нет, — сказала мать-героиня. — И дочки мои с удовольствием работали бы со мной, и соседские девчонки.

Вот уж Вере Демчук не пришлось бы, как сейчас, украдкой показывать ведомость нынешних маминых заработков в колхозе, где стоят постыдные суммы: 30 рублей, 25 рублей и даже 3 рубля 80 копеек. Да и сама бы Вера принесла в дом не горьких пять рублей, заработанных вместе с одноклассниками на картошке в колхозе.

С Владимиром Гапонюком мы не раз объезжали обширную территорию Красноволенского сельсовета. Опрятны небогатые его села, нигде не видно мусора, грязи. Здесь живут приветливые, работающие люди. Прекрасна Волынская земля — своими равнинами, хвойными целебными лесами, узкими, но чистыми реками, на изумрудных берегах которых пасутся несметные стада белоснежных гусей. Как бы хотелось, чтобы жизнь людей повернула в сторону достатка, чтобы их труд был организован по уму, по-хозяй-

ски и давал богатую отдачу и в виде сельского дома — полной чашей, и в виде щедрых продуктов на прилавках наших магазинов. Я думала о главном богатстве Маневичского района Волыни. Здесь проживает 5100 многодетных семей. Неужели позволим и дальше расточительно расходовать это богатство — отдавать детей на сторону, в чужие края в поисках заработка, образования?

На обратном пути заехали с Владимиром Станиславовичем на хутор к Ольге Чмиль. Хозяйка с мужем была на ферме. Вадик с сестрами докапывал последнюю делянку с картофелем.

— А что будет с хутором, когда семья переедет в новый дом? — спросила я у Гапонюка.

— Эту развалюху снесем, — показывая на хату, сказал он, — землю перекопаем. Поле будет!

У Вадика болезненно дернулось лицо:

— Хутор надо оставить, — сказал он. — Может, лучше свет сюда провести? Ведь тогда здесь можно жить нормально.

— Свет?! Это, знаешь, друг, целая волокита, и будет стоить немалых денег, — похлопал подростка по плечу Владимир Станиславович.

— А если я еще немного подрасту, возьму кабанчиков на арендный подряд, денег заработаю, — свет проведете?

— Вот тогда посмотрим! — засмеялся председатель сельсовета.

— Только подождите еще немного, не снесите хутор, — попросил Вадик.

Отозвав меня в сторону, Гапонюк тихо сказал: «Золотой

парень, настоящий человек растет, отличный будет хозяин. А мне от такой лестной рекомедации нашему герою на душе легче почему-то не стало. Решившись спросила Вадика:

— Послушай, давай мы обращение-запрос сделаем через наш журнал «Мы».

— Куда? Кому? — не поняла мальчик.

— А заведующему Бюро по машиностроению Совета Министров СССР, заместителю Председателя Совмина товарищу Силаеву. Спросим: когда подведем ли ему отрасль-громада по вернется лицом к крестьянам конца двадцатого века и их детям и даст мини-тракторы и другую технику, необходимую для арендного подряда? Чтобы вы, подростки, на Украине, в России и в других республиках, как ваши сверстники в Соединенных Штатах, могли бы работать на продовольственную программу, ощутили себя полновластными хозяевами на своей земле.

Вадик подумал и сказал:

— Если это поможет, напишите. От моего имени и имени моей товарищей из села Матейки.

— И от имени Красноволынского сельсовета Маневичского района Волынской области, — добавил Владимир Станиславович Гапонюк.

Что ответят нам Бюро Совмина и его уважаемый председатель? Так и напишем в конце статьи-запроса: журнал «Мы» — с надеждой.

Леонид ГУСЕВ
(фото).

наш специальный корреспондент.

Волынская область.

ПРОБА ПЕРА

Оля ФИКС, 16 лет

ЯРКО-КРАСНЫЕ ЯБЛОКИ

РАССКАЗ

Девушка протягивает на блюде золотисто-прозрачное яблоко, один бок у него розовый, но что-то в нем восковое. Во второй руке у нее точь-в-точь такое же яблоко, только наоборот: само красное, а один бок желтый.

— Хочу красное! — взвизгиваю на многообещающей ноте.

— Яблоки одинаковые, — устало возражает девушка, нетерпеливо ставит блюдца на столик и идет за другими. Подносы занимает гора грязной посуды. Наша няня болеет, и неизвестно, есть ли она вообще.

— Красное, — беспомощно плачу я, отталкивая ненавистный воск. — Красное!

Мальчик в новом костюмчике уплетает мое красное за обе щеки. Я бросаюсь спиной на стульчиковую спинку, опрокидываюсь, выгибаюсь дугой — и основной удар приходится на голову. Зубы клацают, на минуту перехватывает дыхание, затем раздражаюсь законным ревом:

— Красное, красное! — Но ничего уже нельзя разобрать.

Двое жалостливо подтягивают, кто-то просто кричит: перекричать, кто-то раздельно и четко скандирует: «Плакса-вакса». Шум стоит невообразимый.

Девушка на несколько секунд замирает, напрягшись в деревянной позе, склоненная к столу с блюдецками (на всех — красные яблоки), кусает губы, словно собираясь сама зареветь, внезапно выпрямляется и почти кричит на нас на всех:

— Ти-ше!

Никто не внимает, она хватается ближнего, звонко шлепает: «Вот тебе, вот тебе!»

В моей ушибленной голове возникает гул, громче всех голоса все кричат, все кричат, это никогда не кончится, никогда не верну минут, предшествовавших моему падению, никогда не будет тихо, во всем этом виновата я!

Страшное раскаяние охватывает меня. От него тоже хочется плакать, но тихими, самоумиляющими слезьми, чтобы все жалели, а стану плакать и будет мне хорошо.

Постепенно успокаиваюсь. Все уже молчат, даже горстка наказанных в углу. Встаю, поднимаю стульчик, подхожу к воспитательнице — зачем? Может, чтобы дала новое яблоко, красное?

Воспитательница еще не успокоилась, торопится все успеть, скорей ужин, угробила 8 минут на этот плач. Я тяну ее за подол, она всматривается отсутствующими глазами и вдруг соображает: ага, виновник этого восьмиминутного кошмара ходит тут, а другие стоят!

— Иди сейчас же в угол! Ты что, не слышала своей фамилии когда объявляли наказанных? Что ты вообще слышишь, кроме собственного рева? Что ты стоишь?

Непонимающе смотрю на нее: все ведь уже кончилось, я все поняла, уже перестала и больше так не буду, за что? Сумбурно излагаю все это, воспитательница не слушает, она вся в грязной посуде. Не глядя на меня, совсем не грозно, бессознательно повторяет:

— В угол, в угол, в угол, в угол, — почти напевая последние два раза.

В чем-то она разобралась. Отрывается от своего занятия, и весело словно желая обрадовать, говорит:

— В угол!

Внезапно смысл слов доходит до нее, она ловит меня за плечо.

— Ладно, не надо, ты ведь уже поняла и больше так не будешь. Рассеянно киваю и продолжаю начатый путь.

— Сказано тебе: не надо! — раздраженно кричит мне вслед, и, уже махнув рукой, — ну стой, стой, дурочка!

Стою.

В голове проносятся образчики яблок, одно краше другого, эталон самого чудесного на земле, и все красные.

Начинаются музыкальные занятия.

— Через неделю праздник, — грозит музыкальный руководитель.

Что такое неделя, я не знаю, решаю, что завтра, и ужасно пугаюсь. Где же моя пара? Что за танец сейчас? Куда мне — налево? Направо? Кругом? Как же взяться за руки без пары, никто не хочет со мной встать.

Руководитель шепчется с воспитательницей, меня выводят из круга, сажают. Я смотрю, как другие танцуют, и убеждаю себя, что самой

мне вовсе не хочется. Я зато буду стихи читать. Я хорошо читаю и помню долго-предолго.

— Хорошая память у олигофренов, — задумчиво говорит воспитательница. Я повторяю стих еще раз, но она уходит, очевидно это не сейчас так хорошо... А я еще хотела ей свой стих показать, я вчера сочинила и сама запомнила. Вот:

*Купите мне такую песню,
Чтоб в ней сияла алая звезда,
Чтобы петь было интересно
И чтоб девица, как царица,
Милого ждала.*

Я еще много могу таких сочинить, только все забываю. Не такая уж у меня хорошая память, не как у этих цветов... Орхифренов. Я их видела в оранжевее. А как узнали, какая у них память? По запаху?

За ужином — к ужину нас осталось шестеро — выдают печенье. Я его не люблю. В карман прячу — маме. Вчера, когда в ужин были вафли, я одну еще недоела, когда мама за мной пришла. Мама говорит: «Лялька, я ужас какая голодная, отдай мне вафлю». А я слушаю и ем, она договорила, а я уже все съела. Она рассердилась: «Я голодная с работы, а ты вафельку пожалела, никогда тебе не прощу!»

Сегодня дам ей печенье, она простит, она добрая.

Когда хлопает дверь, все вздрагивают: «За мной?» Нет, фиг вам — это мамочка моя!

— Ребенок, — говорит воспитательница, — явно умственно отстаёт. Вряд ли целесообразно готовить в нормальную школу. Вам бы следовало подумать об этом заранее. У нее даже движения до сих пор не скоординировались, что уж тут, извините за выражение, о мозгах говорить.

Тем временем я перебираюсь через длинную раздевальную лавочку, одна нога еще босенькая и легко перепрыгивает, другая — обутая — цепляется за край носком. Я заваливаюсь, но не плачу, силюсь встать. Это не сразу мне удастся, я пыхчу и, не переставая пыхтеть, приковыливаю к маме. Воспитательница хмуро наблюдает за мной.

— Вот видите, — завершает она свою мысль и уходит в группу.

— Мамусь, я тебе печенье, на, возьми, простишь теперь? Ты же голодная, с работы, я тебе оставила.

— Нет, я из дому, я ужинала, — И, наконец, вникая в суть дела, наставительно заканчивает: — Дорога ложка к обеду.

Слезы кончились еще днем, я только тихонечко всхлипываю всю дорогу. А ночью мне снятся яблоки, одно краснее другого.

Стихи Ники Турбиной...

Это, пожалуй,

эмоциональный феномен.

Феномен редкостного восприятия
мира, преломляющегося в изящные
рифмованные строки. Изящные.

Но за ними — далеко не светлое,
порой, даже тягостное

мироощущение. Да, у каждого
отрока есть в жизни проблемы.

Проблемы и беды, от которых
пытаются защитить их мама,

папа, тот взрослый, кто рядом.
Далеко не всегда, правда,

это получается...

...Ника Турбина — безусловно,
очень талантливая поэтесса.

А ведь ее стихи рождались уже
в том возрасте, когда дети

только учатся читать. В чем-то
можно сравнить эти строки

с блоковскими. Может быть,
сравнение это приходит от того,

что так часто в ее стихах

грустят ночь, улица,

старый фонарь...

Трудно оценить талант

по заслугам.

Советский детский фонд

попытался это сделать,

учредив в 1989 году стипендии
особо одаренным детям.

Среди первых стипендиатов

и Ника Турбина. Теперь ее
поэзией издательство Советского

детского фонда «Дом» открывает
новую серию книг — «Книги

детей».

И очень хочется верить,

что большинство из тех,

кто прочтет стихи Ники,

задумается над сложностью

и серьезностью детского взгляда

на мир. Над сложностью

и серьезностью проблем

каждого ребенка — вашего,

соседского

или совсем вам не знакомого.

Ника ТУРБИНА



СЕАНС
МОЛЧАНЬЯ



Я затерялась в тумане,
 Как маленькая звездочка
 В небе.
 Я затерялась в тумане,
 И нет до меня
 Никому дела.
 Но я иду вперед
 Потому,
 Что верю в свою дорогу,
 Она непременно
 Приведет к морю.
 Там сходятся все пути,
 И горькие,
 И по которым легко идти.
 И я отдам
 Морю свою звезду,
 Которую бережно
 Несу в ладонях.
 Это — мое будущее,
 Но оно такое большое...
 Мне его трудно
 Одной нести.



Что останется после меня?
 Добрый свет глаз, или вечная
 тьма,
 Леса ли ропот, шепот волны,
 Или жестокая поступь волны?
 Неужели я подожгу свой дом,
 Сад, который с таким трудом
 Рос на склоне заснеженных гор,
 Я растопчу, как трусливый вор?
 Ужас, застывший в глазах людей,
 Будет вечной дорогой моей?
 Оглянусь на прошедший день —
 Правда там, или злобы тень?
 Каждый захочет оставить
 светлый след.
 Отчего же тогда столько
 черных бед?
 Что останется после тебя,
 Человечество,
 С этого дня?



Дом в деревянной оправе,
 И не попасть туда,
 Где за тенистым садом
 Будет шуметь вода.
 Где с колокольным звоном
 Камень летит с откоса.
 Осень неторопливо
 Туго сплетает косу.
 Где по дорожкам колким
 Хвоя лежит подушкой.
 И даже колючий ежик
 Станет детской игрушкой.
 Где отыскать калитку?
 Чем отомкнуть засовы?
 Может быть, этот домик
 Мною был нарисован...



ГАДАНИЕ

Гадают сейчас
 На времени,
 Карты ушли в историю.
 Кому выпадает черная —
 Бросают туда бомбу.
 Не карты,
 А люди раскинуты
 На бедном
 Земном шаре.
 И каждый боится вытащить
 Кровью залитые страны.
 Как жаль, что я не гадалка,
 Гадала бы
 Только цветами.
 И радугой залечила
 Земле
 Нанесенные раны.



Ищите правду в самих себе,
В глаза детей почаще глядите.
А то заладили: «Распяли Христа!..»
Да вы на руки свои посмотрите.
Ведь легче узреть чужую ложь,
В нее и камень летит со свистом.
Чем ближе к сердцу — острее
нож,

Еще острее — по горлу бритвой.
Мирным не назовешь

Крик боли на нашей планете.

А вы все двери скорей на засов:
«Будет покойно на этом свете...»

Так пусть на том вы горите

в аду,
И дети, сожженные в Хиросиме,
Не проведут вас по тонкому

льду —
Вода окажется гильотиной.

Вечный укор нашему времени —
Глаза идущих в печи Дахау.

И страшно земле от этого
бремени.

Но не утихли творцы напалма.

Горят города, земля горит,

Пальцы чернеют от пепла брата,

У вас душа никогда не болит

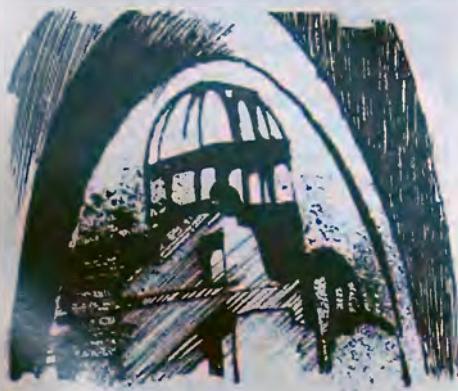
И вам неведомо чувство расплаты.

Так пусть рожденные вами дети

(А вы подобных себе творите)

Не повернутся лицом ко времени

И с поля брани уйдут убитыми.



КАЛЕЙДОСКОП

Ребенок взял калейдоскоп,
Глазок в глазок.

И в миг

Рассыпался весь

Безголосый мир

На разноцветный крик.

Он строит

Замки для царевн,

Зеленую луну.

Разрисовал

Весь шар земной

Оранжевой травой.

Смотри, малыш,

В твоих руках

Не только семь цветов,

Планета —

Дней калейдоскоп.

Твой взгляд —

Ее лицо.

ГДЕ ГРОХОЧЕТ ВОЙНА

Слепой ребенок

На куче хлама

Играл осколками стекла.

И в мертвых его глазах

Стояло солнце,

Не виденное им.

И блики мерцали

На колких стеклышках.

И пальцы, дрожа,

Перерывали мусор,

Думая, что это

Цветы,

Растущие под небом

Рая.

Слепой ребенок

Радовался утру,

Не зная

И не ведая,

Что ночь всегда

Стоит

За детскими

Его плечами.



Забери меня к себе,
Тишина.
Ты одна, и я одна.
За околицу вдвоем
Забредем.
Там тенистые луга,
Колок дерн,
И не кошена трава — зелена.
Горькой ягодой во рту
Тишина.



Горько плачет женщина у окна.
Ей на картах выпало,
Что она
Одинока будет много лет.
Погадать ей заново?
Правды нет
В том, что будет
Сказано мной.

Верните музыку колоколов —
Там стон веков.
Хрустальным куполом
Под небеса
Звенят леса.
Гудит река,
И заводи тишь
Услышь.
Во все времена
Слыхала страна
Зов.
Так что же, сейчас
Набата звон —
В ров?
Вечная музыка —
Пять узлов в кулаке.
Колокол —
Сердце в человеке.



В шесть сорок
Отбудет поезд.
В шесть сорок
Наступит расплата
За то,
Что забыла вернуться,
Что смех у тебя на лице.
Ты выйдешь на станцию,
Тихо.
Твой поезд
Ушел на рассвете.
Не надо
Придумывать фразы,
Чтоб время простило тебя.
Ты просто забыла о дате,
Уходит не скорый поезд.
В шесть сорок
Придет любимый.
Но это было вчера.

ЧУЖИЕ ОКНА

Чужие окна —
Немое кино.
Темно на улице —
В кадре светло.
Молча кричит ребенок,
Не я его качаю.
Бьется посуда к счастью,
Не я его получаю.
И в зале полно безбилетных
На этом сеансе молчанья.
Мое окно звуковое,
Подернуты стекла печалью.



Лидия ЧАРСКАЯ

РАДИ СЕМЬИ

ПОВЕСТЬ



Первое впечатление, навеянное карикатурой на Ию, было впечатление негодования и гнева.

— Как это глупо и жестоко, — мысленно произнесла девушка, — так бессовестно смеяться над старостью! — Она хотела громко произнести эти слова, но сдержалась.

С трудом подавляя в себе охвативший ее порыв возмущения, Ия обвела взглядом толпившихся вокруг доски воспитанниц. Насмешливые улыбки, лукаво поблескивавшие шаловливыми огоньками глаза были ей ответом на ее возмущенный взгляд. Тогда, краснея еще больше, она заговорила, обращаясь к девочкам:

— Я не знаю автора этой возмутительной проделки, mesdames,

и могу только удивляться, как можно было высмеивать такого почтенного человека, как ваш преподаватель господин Вадимов. Еще больше удивляет меня то, что вы не могли, очевидно, понять долетевшую до вас фразу Алексея Федоровича и приписали ей совсем исключительное значение. Да, он счастлив, этот почтенный человек, что может увлекаться, как юноша, творениями искусства и красоты, всеми бессмертными памятниками нашей классической литературы. Я завидую ему, завидую тому, что он в его семьдесят лет не потерял еще чуткости ко всему прекрасному, тогда как мы в его годы, может быть, совсем отупеем и забудем тех, на чьих прекрасных образцах мы знакомились с нашим классическим литературным богатством. И жаль,

Окончание. Начало в № 1, 1990 г.

что вы не сумели оценить светлого влечения к высшему из искусств этого почтенного старца...

Голос Ии дрогнул при последних словах. Глаза ее уже не смотрели на воспитанниц. Она взяла лежавшую тут же тряпку и хотела было стереть карикатуру с доски. Но чье-то легкое прикосновение к ее руке удержало ее на минуту. Живо обернулась Ия. За ее плечами стояла Лидия Павловна, и смущенно глядели испуганные лица пансионеров.

— Чей это рисунок? — без всяких предисловий обратилась к воспитанницам неслышно вошедшая в класс начальница.

И так как все молчали, она одним быстрым, пронизательным взглядом окинула отделение.

— Августова! Я узнаю вас в этой новой гадкой проделке. И вам не стыдно? — обратилась она спокойным тоном, не повышая голоса, к заметно побледневшей Шуре, сопровождая свои слова испытующим взглядом своих насквозь пронизывающих глаз.

Лицо Шуры Августовой из бледного стало мгновенно малиновым. С растерянной улыбкой она выступила вперед. Эта улыбка окончательно погубила дело.

— Как, вы еще смеетесь? Какая глубокая испорченность натуры! — произнесла возмущенным тоном госпожа Кубанская, теряя изменившее ей на этот раз ее обычное олимпийское спокойствие. — Какая испорченная девочка! — повторила еще раз Лидия Павловна. — Вы неисправимы, Ав-

густова! Вы сумели профанировать даже дарованный вам Богом талант!

Желтое, болезненное лицо начальницы брезгливо сморщилось.

— Следовало бы исключить вас за такого рода художество, Августова, но... принимая во внимание горе вашей матушки, я ограничусь на первый раз оставлением вас без отпуска вплоть до самых рождественских каникул! Но все же я требую, чтобы вы принесли извинения уважаемой Ие Аркадьевне. Слышите, Августова? И сейчас же стереть возмутительный рисунок с доски...

Тут Лидия Павловна униженной кольцами рукою указала на все еще красовавшуюся на доске карикатуру.

Но, к удивлению всех, Шура не двинулась с места. Ее лицо приняло упрямое, замкнутое выражение. А синие глаза взглядом затравленного зверька глянули исподлобья.

— Проси прощения, проси прощения, Августова, — шептали дружным хором толпившиеся вокруг нее девочки.

Но Шура молчала и по-прежнему не двинулась с места. Только бледнее становилось ее лицо, да теснее сжимались губы.

— Если вы не попросите тотчас же извинения в вашей гадкой, недостойной шутке перед Ией Аркадьевной, мне придется изменить мое первоначальное решение, — возвысила снова свой обычно спокойный голос Лидия Пав-

ловна,— и вашей бедной матушке придется...

— Шура не виновата. Это я виновата. Я научила ее нарисовать карикатуру на Ию Аркадьевну и господина Вадимова,— пробираясь сквозь тесно сомкнутый ряд пансионеров, дрожащим голосом произнесла маленькая с пепельными пышными волосами пансионерка, и дрожащая нервной дрожью с головы до ног Маня Струева предстала перед лицом начальницы.

Голубые глаза шалуньи Струевой теперь бесстрашно смотрели в лицо Лидии Павловны, в то время как пухлые малиновые губки улыбались виноватой, растерянной улыбкой.

Легкая усмешка повела тонкие губы начальницы.

— Товарищеская поддержка — это очень трогательно,— произнесла несколько насмешливо госпожа Кубанская,— но мне было бы много приятнее, дети, если бы вы поддерживали друг друга не в шалостях и проказах, а в совместных занятиях, в приготовлении уроков и в более достойных делах, нежели изображение в карикатурах ваших наставников. Однако сделанного не вернуть. Его можно только исправить. А как исправить, вы знаете это сами. И я не буду вам в этом мешать, надеюсь, вы поняли меня? — значительно и веско заключила Лидия Павловна и, повернувшись, пошла из класса.

— Простите меня, m-elle Басанова! — услышала в тот же миг

Ию — и порозовевшее от смущения лицо Струевой взглянуло на нее своими чистыми, голубыми глазами. Симпатичное открытое личико шалуньи Мани еще в первом же взгляде, брошенном на него, чрезвычайно понравилось Ие. А ее красивый, благородный поступок окончательно привлек молодую девушку на сторону этого милого, хотя и без удерж шаловливого ребенка.

И много стоило усилий Ии, чтобы не броситься к маленькой Струевой и не расцеловать это алевшее от смущения личико.

Но она ограничилась лишь тем, что протянула руку и, крепко сжимая тонкие пальчики, проговорила ласково:

— Я надеюсь, вы поверите мне, если я скажу, что не сержус на вас нисколько.

— О, да, m-elle,— искренно вырвалось из детского ротика, голубые глаза, помимо воли и обладательницы, обласкали Ию.

— А я не извиняюсь,— вдруг неожиданно проговорила резким голосом Шура, вливаясь в лицо Ии неприязненным взглядом.

— Я не извиняюсь! — еще раз вызывающе и резко повторила она.

— Это уже дело вашей совесть,— нашлась ответить ей после недолгого колебания Ия, в то время как возмущенные чрезмерной дерзостью Шуры ее подружки зашептали, дергая последнюю со всех сторон за передник.

— Августова! С ума ты сошла,

что ли! Это уже слишком, однако! И тебе не стыдно, Августова?

— Во всяком случае,— продолжала, повысив голос, Ия,— если вы даже и не извиняетесь передо мною, как это приказала вам Лидия Павловна,— я передам начальнице, что вы уже просили у меня прощенья. Мне жаль вашу мать, Шура, ведь вас так зовут, не правда ли? Подумайте, что будет с нею, если вас исключат?

Болезненная гримаса пробежала по сильно побледневшему лицу Августовой. Сердце сильно забилося в груди синеглазой девочки. Первым движением ее было кинуться вперед навстречу протянутой руке новой наставницы. Но какая-то злая, упрямая сила удержала этот добрый порыв. И губы Шуры сомкнулись еще упрямее.

Еще сердитее глянули исподлобья синие дерзкие глаза на Ию, и, хмуря черные шнурочки бровей, она произнесла, угрюмо глядя на Басланову:

— Пускай исключат меня, если это им нравится. Никому нет дела до моей матери. А просить прощенья ни за что не буду. Вы слышали? Ни за что! Так и скажите Лидии Павловне. И не нуждаюсь я ни в чьем заступничестве. Решительно ни в чьем!

Она хотела прибавить еще что-то, но в этот миг в отделение четвертого класса вошел Herr Löwe, учитель немецкого языка, маленький, румяный, жизнерадостный человек, и начался немецкий урок.

Веселый, улыбающийся, с быстрой речью и круглыми щеками, похожими своим цветом на два румяные яблока, Herr Löwe производил на окружающих самое отрадное впечатление.

Начать с того, что он никогда не ставил ученицам дурных отметок.

Вызовет девочку, проверит заданный урок — отвечает ему воспитанница из рук вон плохо, а после урока, глядишь, против фамилии отвечавшей красуется вместо пресловутой единицы семь с минусом, низшая отметка, которую можно было получить у учителя немецкого языка. И уж если воспитанница совсем ни в зуб толкнуть, как говорится, по части знания урока, вовсе рта не раскроет на все вопросы учителя, то и тогда Herr Löwe ограничивается одним только *nota bene*, обещая переспросить провинившуюся девочку в следующий раз.

Зато уроки немца проходили весело и интересно. Этот румяный маленький человечек, похожий больше на какого-нибудь немецкого фермера, нежели на учителя, имел к тому же приятную склонность к декламированию стихов. И нужно сознаться, декламировал он их в совершенстве. При этом его румяное лицо улыбалось и сияло, а маленькие голубые глазки принимали самое сентиментальное выражение.

При виде Ии Herr Löwe очень изумился.

— Как фрейлен Вершинина уже уекал? О как шаль! Как шаль! — закачал он своей круглой, как шар, с большой лысиной головою. И, как бы спохватившись, что это нелюбезно по адресу новой классной наставницы, Herr Löwe тотчас же предупредительно обратился к ней с самой любезной улыбкой:

— Но ви тоше, фрейлейн, будет дофольны своими детками. Детки будут любить вас, как и ваш предшественниц! — залепетал он, кивая головою и сияя голубыми глазками.

Увы! Ия предчувствовала нечто обратное тому, что говорил учитель, но должна была ответить добряку немцу несколькими любезными фразами.

Пару насмешливых улыбок успела она все-таки перехватить по своему адресу в то время, как учитель выражал уверенность, что милые детки будут любить ее не менее Магдалины Осиповны.

О, эти милые детки!

Сердце Ии сжималось теперь самыми злейшими предчувствиями. Ее служба здесь только началась, а уже первые впечатления, пережитые ею, были исполнены всевозможной горечи и неприятностей.

За утренними уроками следовал завтрак. Затем воспитанницы шли на общую прогулку. Они гуляли попарно или по несколько человек, взявшись за руки, по большому, похожему на парк саду, густо разросшемуся дубами, липами и кленами и окружавшему

с трех сторон здание пансиона

Посреди этого сада находился пруд. Вода в нем подернулась зеленью, похожую на плесень Ева Ларская, взявшая на себя роль проводника новой наставницы во время прогулки по большому саду и не отходившая от Ии во все время этой прогулки, перехватила взгляд последней, устремленный на зеленоватую поверхность маленького озера.

— Вы не смотрите на то, что он такой крошечный, этот пруд, и похож на лужу, — говорила Ие бледная худенькая девочка с голубыми жилками на висках, — здесь есть опасный омут. Из-за него-то Лидия Павловна и запрещает нам близко подходить к пруду с тех пор, как в нем утонула одна пансионерка. А зимою здесь устраивается каток, и мы катаемся на коньках вместо прогулок во время большой перемены после завтрака.

— Утонула пансионерка? — сорвалось тревожно из уст Ии. — Утонула здесь? В этой луже? — переспросила удивленно молодая девушка.

— Но я же говорю вам, что в этой горсточке воды находится глубокий омут, m-elle Басланова, а Анна Левина в начале мая вздумала купаться в один из жарких весенних дней, пока в саду никого не было. И ее затянуло в этот ужасный омут. Через два часа догадались только, где она, и нащупали баграми ее уже закочевшее в воде тело. Впрочем, это было еще до моего поступления сюда. Я еще училась тогда в

казенной гимназии. Но Надя Копорьева, вы знаете Надю, дочь нашего инспектора классов, вот, высокую девочку в очках, она мне рассказывала о бедной погибшей Анне.

И без всякой последовательности Ева закончила свою речь вопросом:

— А знаете, Ия Аркадьевна, что наши девочки ненавидят вас?

— За что? — не могла не улыбнуться Ия.

— За то только, вообразите, что они слишком любили Магдалину Осиповну. Я одна ее не очень-то долюбивала, представляйте.

— Почему же?

— Да потому, что она была чересчур мягкая, слабая и позволяла садиться себе на шею. При ней мы все делали, что нам вздумается. Она никогда не повышала голоса, не сердилась. За это они ее любили. Но и был наш класс вследствие этой ее бесхарактерности на самом дурном счету. Каждый делал, что хотел, и учились мы все, надо сказать правду, отвратительно. Конечно, девочки встретили вас «на рога-тину» потому только, что почувствовали над собою силу. И любить вас они все-таки не будут ни за что...

— Мне и не надо их любви, — спокойно проговорила Ия, — я требую от них не чувства ко мне, а сознания долга к исполнению... наложенных на них школой обязанностей.

— Ах, как вы хорошо это ска-

зали, m-elle! — вырвалось непроизвольно у Евы, и из-за болезненных черт ее старообразного лица выглянули черты и улыбка милого непосредственного ребенка.

Ие неожиданно захотелось приласкать этого ребенка. Но, верная себе, она сдержалась.

— А меня именно и привлекает к вам эта ваша сила, — помолчав немного, снова заговорила задумчиво Ева, — вы подумайте только, Ия Аркадьевна, как хорошо представлять из себя единицу, личность, с мнением которой люди считаются, кого они уважают даже помимо их собственного желания.

Ведь если бы меня держали строже, если бы я видела вокруг себя людей с сильным характером и твердою волей, разве мне пришлось бы в голову вести себя так, как я вела себя в тех прежних учебных заведениях и за что меня исключали уже два раза. А то мама ввиду моей болезненности позволяла мне делать все, что мне вздумается: и не учить уроков, и не посещать классов. Мне безнаказанно спускались все те дерзости, которые я позволяла себе по отношению к старшим, и Магдалина Осиповна уж, конечно, не имела никакого влияния на меня. Она была такая обыкновенная, маленькая... А вы...

Ева Ларская не договорила. Восторженно-радостный крик пронесся в эту минуту по саду. И воспитанницы заметались по его бесконечным дорожкам и тропин-

кам, устремляясь в ту сторону, откуда слышался этот призывный радостный крик.

Ия в сопровождении не отставшей от нее ни на шаг Евы поспешила туда же. На крыльце здания, выходящем широкими каменными ступенями в сад, стояла Зюнгейка Карач, вся красная от радостного волнения, и размахивала небольшим белым конвертиком, который держала высоко над головою.

— От Магдалиночки! Магдалиночки, звездочки нашей, солнышка нашего! Ангела нашего,— кричала, то и дело сопровождая слова свои неприятными, режущими ухо взвизгиваниями, Зюнгейка.— Сюда, ко мне идите! Слушайте, что пишет нам наша чудная Магдалиночка!

Привлеченный этими криками, весь пансион в несколько секунд собрался у крыльца вокруг находившейся здесь Зюнгейки, и десятки рук протянулись к башкирке.

— Читай письмо, читай же скорее, Карач! — нетерпеливо звучали молодые голоса.

— Mesdames! Не смейте вырывать письмо, а то не узнаете ни строчки! Оно мне написано, мне и принадлежит! — сверкая глазами, вопила башкирка в ответ на все поползновения ее одноклассниц завладеть письмом.

Это письмо было прислано только что Магдалиной Осиповой с посланным из дома ее матери, куда больная наставница переехала на время из пансиона.

«Милые мои деточки! Не удалось мне как следует проститься с вами,— стояло в письме.— Судьбе было угодно лишить меня этой последней радости. Бо знает, увижу ли я вас еще когда-нибудь, а между тем обстоятельства сложились так, что я не могла даже прижать вас в последний раз к моему любящему сердцу и расцеловать ваши бесконечно дорогие мне мордочки, которые неотступно стоят все время передо мною...»

Все последующие строки письма были написаны в том же духе.

Ни одним словом не упоминалось в нем о Ие, но она фигурировала в письме без названия, то под видом обстоятельств, то под личиной судьбы.

Когда бледные от волнения пансионерки познакомились с содержанием письма, такого нежного и ласкового, но таившего, может быть, помимо воли писавшей его, яд обвинения против Ии, все головы повернулись к этой последней. Снова заблестели угрозой и недоброжелательством юные глаза пансионерок, но молодая девушка, стараясь не замечать этих недоброжелательных взглядов, как ни в чем не бывало позвала детей в класс...

Следующий урок был уроком истории.

Еще молодой, недавно сошедший с университетской скамьи, учитель Петр Петрович Гирсов, умевший захватить красочной речью свою юную аудиторию,

образно и красиво рассказывал воспитанницам о значении искусств в общественной жизни древних греков.

Но мало кто слушал его сегодня. Воспитанницы все еще находились под влиянием полученного письма. Постоянное шуршание и легкий шорох на последних скамьях привлекали внимание Ии. Она прошла по классу и заметила нечто, совершенно не согласовавшееся с уроком древней истории, происходившее сейчас у нее в отделе. И причиной этому было все то же злополучное письмо.

Каждой из воспитанниц хотелось приобрести на память хотя бы копию его. Нечего и говорить, что оригиналом деспотично завладела Зюнгейка, на имя которой оно и было прислано. И вот, одна за другою, девочки переписывали его в свои записные книжки на память.

— Mesdemoiselles! Не время и не место заниматься посторонним делом на уроке, — произнесла Ия, неожиданно появляясь перед партой Мани Струевой, переписывавшей в эту минуту последнюю страницу письма. Ия взяла злополучный документ и унесла его на свой столик.

Едва закончился урок истории, как перед нею словно из-под земли выросла красная, пылающая злобой Зюнгейка.

— Нельзя брать чужое. Надо отдавать чужое. Так закон учил. Так Аллах велел, — нервно жестикулируя чуть ли не у самого лица Ии, выходила из себя башкирка, наступая на молодую девушку.

С бледным лицом и спокойной улыбкой Ия взяла ее за обе руки и несколько секунд продержала эти смуглые, отчаянно равнявшиеся у нее в руках пальцы в своих.

— Так не разговаривают со старшими, Карач, — произнесла она твердо и спокойно.

— А старшие не должны показывать дурного примера младшим. Если бы мы взяли у вас чужое письмо, что бы вы сказали на это? — И Шура Августова, очутившись подле Зюнгейки, дерзко устояла обычным своим вызывающим взглядом в лицо Ии.

Молодая наставница смирila ее глазами с головы до ног.

— Это письмо останется у вас. Его никто не возьмет. Но, пока идут уроки, я не могу разрешить вам переписывать его, — послышался сдержанный ответ Ии.

— А вы его не прочтете?

Синие дерзкие глаза снова блеснули явной насмешкой по адресу Ии. Как под ударом хлыста, вздрогнула молодая девушка. Эти слова жестоко оскорбили ее. Но и тут, стараясь совладать с охватившим ее волнением, она с ледяным спокойствием отвечала Шуре:

— Я не имею привычки читать чужих писем, запомните это раз навсегда, Августова, и по окончании уроков, повторяю еще раз, вы получите ваше письмо обратно.

— Бессовестная! — крикнула Ева Ларская, выбегая вперед... — Как ты смеешь оскорблять Ию Аркадьевну? Ведь если бы Лидия Павловна узнала все... то... то...

Ева не могла договорить. Она

дрожала, как лист. Девочка была очень нервна от природы, и часто малейшее волнение у нее заканчивалось обмороком.

Маня Струева, зная это и уступая влечению своего доброго сердечка, бросилась к Еве:

— Не ссорьтесь, дети мои, ради Бога... Шурочка, Ева! Что это в самом деле, право!

— Пусть отдаст письмо... Аллаха нашего... Магдалиночки нашей! — твердила между тем в полном забвении чувств Зюнгейка.

Шум и волнение росли с каждой минутой. За этим шумом не было слышно приближения учителя, и только когда преподаватель математики, добродушнейший толстяк со странной фамилией Полдень, вошел на кафедру и послал оттуда свое обычное: «Здравствуйте, девицы», пансионерки, как испуганная стая птиц, разлетелись по своим местам.

Урок математики, к счастью, сошел благополучно. Но зато обед принес Ие новые, непредвиденные волнения.

— Mesdames, во имя Магдалины Осиповны и в память ее я объявляю голодовку! — произнесла Зюнгейка Карач, решительным жестом отодвигая от себя за столом тарелку с супом. — Кто любит алмаз наш, Магдалиночку, тот не прикаснется ни к супу, ни к жаркому день, другой, третий!.. Целую неделю, если это возможно. Словом, до тех пор, пока не станут от голода подкашиваться ноги и не закружится голова, — объявила она

своим громким шепотом, отчаянно жестикулируя по привычке.

— Удивительно остроумное решение, нечего и говорить! Пошлость, достойная ее творца, — заговорила возмущенным тоном Ева Ларская, — и глупее глупого будет, mesdames, если вы последуете примеру этой дикой девчонки.

— Отчего же не последовать? Надо же хотя чем-нибудь отметить уход Магдалиночки, раз ее так бессовестно выкурили от нас, — так громко проговорила Августова, что сидевшая за этим же столом вместе с пансионерками Ия услышала ее слова. Но она сделала вид, что не слыхала Августовой. Между тем к «объявившей голодовку» башкирке и следовавшей ее примеру Шуре примкнуло еще несколько человек. Маня Струева хотела, было, избавиться от неприятной обязанности идти по стопам «голодающих», но Шура так строго взглянула на бедняжку, что той оставалось только отодвинуть от себя прибор и, вооружившись терпением, смотреть, глотая слюны, как с аппетитом уничтожались сидевшими за столом более благоразумными воспитанницами бараньи котлеты с горошком и куски песочного торта, поданного на третье блюдо.

А вечером, когда пансионерки пришли после чая и молитвы в дортуар, у них произошло новое столкновение с Ией. Ровно в десять часов Ия вышла из-за ширм и громко объявила во всеуслышание:

— Mesdemoiselles! Тушите свечи и бросайте ваши занятия.

Я гашу электричество, пора спать.

Поднялись «ахи» и «охи», громкий ропот неудовольствия и негодования.

— Как так? Ведь еще десять часов только! Детский час. При Магдалиночке мы сидели со своими «собственными свечами» до двенадцати! — слышались со всех сторон протестующие голоса.

Стараясь владеть собою и не выходя из обычного спокойствия, Ия отвечала:

— Мне нет дела до того, что было при моей предшественнице. У меня есть свои собственные правила, соблюдения которых я буду требовать от вас. Во всяком случае, раз вы встаете в половине восьмого утра, вы должны засыпать до двенадцати ночи, чтобы иметь свежую голову и бодрое настроение на следующий день.

— Ага! Вот оно что! И тут притеснение! Ну хорошо же! — прозвучал чей-то шепотом произнесенный многозначительный ответ.

И в тот же миг потухло электричество. В абсолютной темноте, натываясь на табуретки, попадавшие ей по пути, Ия с трудом добралась до своего уголка за ширмами.

Когда она подходила к крайней постели, до слуха молодой девушки долетел тихий, дробный, явственный стук, повторенный несколько раз.

Было слышно очевидно, что кто-то из воспитанниц отстукивает косточками пальцев по доске ночного шкапика. Ия остановилась.

— Кто это стучит? — крикнула она громким голосом в темноту...

— Должно быть, мыши! — со сдержанным фырканьем отвечал смеющийся голос.

Тогда, не спеша, Ия повернула назад. Стук повторился уже в другом месте, рядом, около соседней кровати.

— Тук! Тук! Тук!

Теперь уже стучали подле каждой постели, с которой равнялась в тот момент ее высокая, слабо намеченная лунным светом фигура.

— Тише, mesdemoiselles, прошу не шалить — сдержанно уговаривала расходившихся воспитанниц молодая девушка.

И, словно в ответ на эти слова, стук участился. По мере медленного путешествия Ии по длинному темному дортуару он разрастался с каждой минутой. Мимо чьей бы постели ни проходила девушка, при сдержанном хихиканье неслось оттуда четкое и раздельное постукивание пальцев о доски ночных шкапиков.

Наконец, потеряв всякое терпение, Ия остановилась посреди комнаты.

— Будет ли конец вашим шалостям, mesdemoiselles? — произнесла она дрогнувшим голосом. И в тот же миг дружное, в несколько рук, массовое выстукивание наполнило своим нудным, неприятным шумом дортуар.

Теперь стучали долго и оглушительно громко.

Ия стояла растерянная и смущенная едва ли не в первый раз в жизни.

Останавливать девочек она не

решалась. Да это было бы сейчас бесполезно; чтобы не дать понять своего раздражения, она спокойно направилась дальше. Массовое постукивание прекратилось, но зато прежнее единичное преследовало ее настойчиво и неумолчно.

И вот, покрывая сонным голосом весь этот шум, Ева Ларская закричала громко:

— Что за безобразие, спать не дают! Свинство, *mesdames*! Нашли тоже время, когда сводить счеты!

Но никто не обратил внимания на эти слова.

Девочки продолжали стучать. Стучали еще и тогда, когда совершенно измученная этим стуком Ия прошла в свой уголок за ширмой и, заткнув уши пальцами, повалилась ничком, обессиленная, на кровать.

— Нет, нет, я не останусь у вас! Не могу остаться! — говорила на другой же день Ия, сидя против Лидии Павловны в рабочем кабинете последней. — Я не из тех, которые жалуются на каждую мелочь, придираются по пустякам, сводят мелкие счеты. Но и изводить себя таким обращением я тоже не позволю. Не по моей вине заболела любимая пансионерками их прежняя наставница, и мне пришлось заступить ее место. И меня крайне тревожит эта явная вражда, которую ни за что, ни про что проявляют дети, — взволнованным голосом заключила свою речь молодая девушка.

Лидия Павловна заметно встревожилась. По ее всегда сдержан-

ному лицу пробежало выражение беспокойства.

— Дитя мое, — проговорила она, притрагиваясь унизированной кольцами рукою руки Ии, — вы напрасно так волнуетесь. Вы — такая умница, такая тактичная с этой врожденной способностью обходиться с детьми! Я кое-что успела подметить в вас, Ия Аркадьевна. То именно, что так ценно в воспитательнице — врожденный такт и умение владеть собою. И наставницы, обладающие такими драгоценными качествами, нам крайне желательны. Я не отпущу вас ни за что. Скажите, эта невозможная Августова извинилась перед вами? Если нет, то я уволю ее тотчас же безо всяких разговоров.

Ия вспыхнула, как зарево, при последних словах начальницы. Она знала, что судьба этой «невозможной» Августовой теперь зависела только от нее. По одному ее слову госпожа Кубанская исключит из пансиона Шуру или же оставит ее здесь.

И не привыкшая лгать, опуская свои строгие, правдивые глаза под упорным, настойчивым взглядом начальницы, Ия, решив во что бы то ни стало отстоять Августову, проговорила:

— Да, извинение мне было принесено.

Это была чуть ли не первая ложь, сказанная девушкой. Но эта ложь спасла Шуру. Ответ молодой девушки, казалось, вполне удовлетворил начальницу. По ее холодному сдержанному лицу пробежала тень подобия улыбки.

— Ну, вот и отлично,— поверив словам своей собеседницы, проговорила Лидия Павловна,— вот и отлично! Теперь вы должны непременно остаться помогать мне в трудном деле воспитания детей. Нет, нет, не отнекивайтесь, не покачивайте вашей благоразумной головкой... В силу долга, из одного человеколюбия вы должны остаться у нас, должны помочь мне исправить то невольно причиненное Магдалиной Осиповной зло, которое посеяла ее чрезвычайная мягкость к детям...

— Но...

— Без «но», моя дорогая... Помогите мне, я же помогу вам. Я кое-что уже для вас сделала, и вас, милая Ия Аркадьевна, ждет в недалеком будущем очень приятный сюрприз. Не думайте, что я хочу подкупить вас этим. Вы, насколько я успела заметить за этот короткий срок нашего знакомства с вами,— неподкупны, и я более чем уверена, безо всяких новых просьб с моей стороны останетесь там, где принесете такую существенную пользу людям.

И, быстро поднявшись со своего места, Лидия Павловна протянула Ие руку, как бы давая ей понять этим, что их деловое свидание окончено.

Смущенная неясными намеками о каком-то сюрпризе, молодая девушка прошла к себе. Очевидно, сами обстоятельства складывались так, что ей необходимо было остаться и тянуть лямку наставницы, в которую запрягла ее судьба.

Суббота. Ясный сентябрьский полдень бабьего лета стоит над большим городом. Греет последним летним теплом солнце. Золотятся желтые листья деревьев. Рдеет алая спелая рябина в саду.

В субботу пансионеров распускают по домам до двенадцати часов, и к завтраку весь пансион заметно пустеет. Не уходят только несколько человек, оставленных без отпуска. Шура Августова и Маня Струева находятся в числе последних. Ие удалось уговорить Лидию Павловну значительно сократить срок наказания, назначенного девочкам, но тем не менее три воскресенья подряд они должны отсидеть без отпуска в пансионе.

С наказанными остается дежурная классная дама младшего отделения, и Ия свободна от своих обязанностей на два дня. Целых два дня отдыха! Какое счастье! Она может принадлежать себе вполне, может почитать на досуге, написать письма домой. Ей так хочется побеседовать с ее дорогой старушкой! Ведь теперь ее мать совсем одинока! Катя уехала в С. учиться. Яблоньки опустели... Что-то поделывает там одна ее бедная старушка?..

Глаза Ии завораживаются следами. Но губы улыбаются бессознательной улыбкой. И так необычайна эта милая беспомощная, совсем детская улыбка на ее замкнутом, не по летам строгом серьезном лице!

Она точно чувствует подле себя присутствие матери. Видит ее добрые глаза... Ее исполненное любви и ласки лицо.

— Июшка, родная моя! — слышит, как сквозь сон, молодая девушка...

А кругом нее такая красота! Последняя сказка лета тихо замолкает в предсмертном шелесте листьев, в чуть слышном плеске воды крошечного озера, в шуршанье опавшей листвы, золотой и багряной, под легкими стопами Ии.

И это чудное мягкое сентябрьское солнце, ласковыми лучами пробивающееся сквозь заметно обедневшую чащу сада!

Быстрыми шагами идет Ия прямой, как стрела, садовой аллее. И кажется девушке, что она сейчас не в далеком от ее милых Яблонек большом чужом городе, а там у них, за красавицей Волгой, в родных степях, окруженных лесами. Что стоит ей только смахнуть туманящие глаза слезы, и она увидит мать, Катю, всю хорошо знакомую домашнюю обстановку, работницу Ульяну, скромный шалашик в саду...

Но что это? Разве она действительно дома? Или это сон?

Ия сильно, до боли стискивает руки, стискивает так крепко, что хрустят ее нежные пальцы... Боже мой, да неужели пальцы... Боже мой, да неужели же она не спит? Прямо навстречу к ней стремительно бежит небольшая, хорошо ей знакомая фигурка. Черные волосы сверкают ей навстречу. Ра-

достно улыбаются знакомые, пухлые губки...

— Катя! Катя моя! — вскрикивает, не помня себя от радости, Ия и сама, как девочка, бросается навстречу сестре.

— Ия! Милая Ия!

Сестры замирают в объятиях друг друга.

— Катя! Катюша, черноглазка моя милая! Какими судьбами ты здесь? Ты ли это? Катя! Родная моя!

— Я, Иечка, я... Своей собственной персоной! Неужели же не узнала? — со смехом, перемешанным со слезами, бросает шалунья, и целый град поцелуев сыплется на лицо старшей сестры.

— Да как же ты сюда попала, Катечка? — все еще не может прийти в себя Ия.

Захлебываясь от волнения, топропаясь, с дрожью радости, Катя порывисто поясняет старшей сестре причину своего появления здесь так неожиданно, почти сказочно и невероятно.

— Ты подумай, — словно горох, сыплется у нее изо рта слова, — ты подумай только, Иечка, мы с мамой ничего не знаем, ничего не подозреваем, и вдруг письмо от Лидии Павловны... Как снег на голову... Понимаешь? Не письмо даже, а целый хвалебный гимн вашему высочеству, Ия Аркадьевна. Так, мол, и так: пишет, что ты девятое чудо мира, восьмое, конечно, это — я, — не может не вставить с лукавым смехом шалунья, — пишет, что так довольна, так довольна тобою и твоими педагогическими способностями, которые ты

проявила уже за первую неделю твоего пребывания здесь, что во что бы то ни стало хочет поощрить тебя, а кстати и снять часть обузы по моему воспитанию с твоих плеч. Она узнала откуда-то, что ты теперь единственная кормилица семьи, что ты платишь за меня и за ученье. И вот она предложила маме прислать меня к вам в пансион, где любезно будут обучать меня всякой книжной премудрости безо всякой платы, сиречь даром, за твои почтенные заслуги перед обществом. Понимаешь?

Да, Ия поняла. Поняла отлично, какой сюрприз был приготовлен ей начальницею пансиона.

И восторженная радость, радость впервые со дня ее появления здесь, в этих стенах, затопила мгновенно душу молодой девушки!

— Так ты поселишься со мной? Ты будешь жить со мной? И учиться у меня на глазах? — то отстраняя от себя Катю, то снова привлекая ее к себе, заговорила новым, мягким, растроганным голосом Ия. И куда-то исчезла сразу сейчас ее обычная сдержанность, ее замкнутость и показная суровость.

Со слезами радости на глазах обнимала она сестренку, расспрашивала о матери и о домашних делах.

Болтая без умолку, Катя рассказала все. И как она ехала одна от самого Рыбинска, куда проводил ее соседский арендатор, ездивший в Рыбинск по делам князя Вадберского, и как она заезжала в С. про-

щаться со своими бывшими товарищами, и сколько стихотворений они написали ей на прощанье в альбом...

Оживленно беседуя, сестры не заметили, как подошел час обеда. Опомнились они лишь тогда, когда, оглушительно раздаваясь на весь сад, зазвенел звонок. Но прежде, нежели вести сестренку в столовую, Ия, остановив Катю на минуту в саду, зашла к Лидии Павловне поблагодарить ее за сюрприз.

— Вы сами не подозреваете даже, как много вы сделали для меня. Я не знаю, как отблагодарить вас за это,— говорила растроганным голосом молодая девушка, крепко сжимая маленькую сухую руку начальницы.

— А между тем вы не можете больше, чем кто-либо другой, быть полезной и тем отплатить за ту ничтожную услугу, которую, по вашим словам, я оказала вам,— сопровождая свои слова обычной холодной улыбкой светской женщины, произнесла Лидия Павловна,— помогите мне в деле воспитания моих сорванцов-девиц, и мы квиты...

Новым пожатием руки Ия подтвердила свою готовность исполнить желание начальницы и снова вернулась в сад, где Катя с нетерпением ждала ее возвращения.

— Идем обедать, Катюша. Я познакомлю тебя с двумя пансионерками твоего класса, которые остались на праздники здесь. В понедельник же ты увидишь остальных. После обеда необходимо переодеться с дороги, а там я пред-

ставлю тебя Лидии Павловне. Пока же идем!

И, обвив рукою плечи сестры, Ия повела Катю в столовую.

В то самое время, пока обе девушки спешили к крыльцу здания по главной дорожке сада, близ того места, где они только что находились, зашевелились кусты волчьей ягоды, и среди уцелевшей желтой листвы мелькнули сначала две пары рук, а вслед за ними высунулась из-за кустов пара юных головок, одна черненькая, как жук, другая пепельно-русая.

— Трогательная историйка, нечего говорить. Ну и сестричка у нашего идолица! Хороша! Нет слов! — презрительно оттопыривая заячью губку, произнесла одна из появившихся из-за кустов девочек. Это была Шура Августова.

Она вместе со своей неразлучной подругой Маней Струевой прошмыгнули сюда следом за Ией после завтрака, все время наблюдали за новой наставницей и были свидетельницами происшедшей у них на глазах встречи сестер.

— А мне она очень понравилась, эта черноглазая смуглая Катя. Она удивительно симпатичная, и по части проказ от нас с тобой не отстанет, — возразила подруге Струева.

— Воображаю! Уже по одному тому тихоней сделается, чтобы дражайшей своей сестричке, идолицу этому, попомни мои слова, все, что ни делается в классе, на хвосте переносить ей же все станет...

— А Надя Копорьева отцу переносит разве?

— То Надя... А эта, увидишь, клязницей будет первый сорт.

— Послушай, Шура, зачем ты клеветашь на совершенно незнакомаго тебе человека? — возмущалась Маня. — И почему у тебя столько вражды к Ие Аркадьевне? А между тем, ты слышала, что говорила ей сейчас эта черноглазенькая? Ия Аркадьевна содержит на своих плечах всю семью. Такая молоденькая и взяла на свои плечи какую ответственность.

— Ну, и глупа же ты, Манья! Молоденькая, а любую старуху за пояс заткнет. Небось, приструнит нас эта молоденькая, так прибежит к рукам, что и пикнуть не успеем. И девчонка эта, я уверена, прислана сюда, чтобы шпионить за нами.

— Шура! И не стыдно тебе! Я ненавижу, когда ты возводишь напраслину на людей, — в запальчивости вырвалось у Струевой.

— Меня ненавидишь? Меня? Своего друга? Из-за какой-то пришедшей девчонки?

— Не тебя, а твои поступки!

— Ага! Мои поступки ненавидишь? Ну, так убирайся от меня, — сердито бросила, задыхаясь от гнева, Августова. — Я сама тебя ненавижу и знать не хочу. И дружи с твоей черноглазой красавицей, с деревенщиной этой, а от меня отстань! Я да Зюнгейка только и остались верными нашей Магдалиночке, а вы давно изменили ей.

— Шура! Шура!

— Изменили, да! Нечего тут глаза таращить: Шура! Шура! — передразнила она со злостью Струеву. — Всегда была Шурой, а изменницей никогда не была. И знать тебя больше не хочу. Не друг ты мне больше! Да, да, да! Не друг!

И не помня себя от охватившего ее гнева, Августова, сердито сверкнув глазами на Маню, бросилась чуть ли не бегом от нее.

Маленькая Струева с трудом попевала за нею. Уже не впервые со дня ее дружбы с Августовой Маня убеждалась воочию в несправедливости последней. Но девочка души не чаяла в своем друге и старалась возможно снисходительнее относиться к недостаткам Шуры. Слово «подруга» являлось для нее законом. Они и учились вместе, и шалили вместе. Мягкая по натуре, веселая, жизнерадостная Маня подпала сразу под влияние своей более опытной сверстницы. Деликатная и чуткая, не способная ни на что дурное, она, однако, стяжала себе славу первой шалуньи благодаря той же Августовой, постоянно подзадоривавшей ее на всякие проказы и шалости. И сегодня тоже Шура подговорила Маню пойти подглядывать за «идолищем», как она прозвала Ию.

Но сейчас Маня убедилась воочию, что ее любимица далеко не тот светлый человек, каким она себе представляла Шуру. К тому же черноглазая провинциалочка, так тепло и душевно встретившаяся со старшей сестрой и сама

оказавшаяся такой симпатичной и ласковой, шевельнула хорошее чувство в маленьком сердце Струевой. И ее потянуло поближе познакомиться с этой бодрой, свежей, не испорченной столичными привычками Катей, прилетевшей сюда, как птичка, из далекого приволжского захолустья.

Нечуткость Шуры ее поразила. Тем более поразила, что — Маня знала это прекрасно — та же Ия Аркадьевна выхлопотала им обоим сокращение наказания у Лидии Павловны, и она же «покрыла», оправдала Шуру перед начальницею, когда та не пожелала просить у нее прощения.

И вдруг эта непонятная несправедливость и злость по отношению к молодой девушке, ее заступнице!

Все существо Мани бурно протестовало, и престиж Шуры Августовой падал все ниже и ниже в ее глазах.

Во время обеда Струева не без смущения наблюдала, как, пользуясь минутой, когда отворачивалась Ия Аркадьевна, Шура передразнивала все движения и манеры Кати, сидевшей с ними за одним столом, и всячески задевала ее.

С Катей Маня Струева познакомилась очень быстро и чувствовала себя в ее обществе так свободно и легко, точно она давно-давно знала эту веселую, бойкую черноглазую девочку, мило рассказывавшую ей своим типичным волжским говорком о далеких Яблоньках, о шалаше, построенном ею в саду собственноручно, и о

двух коровах, Буренке и Беляночке, и о работнице Ульяне, и о соседнем Лесном, где постепенно приходил в упадок роскошный палаццо князей Вадберских.

Девочки сразу сошлись и разговаривались.

Сошлась, против ожидания Ии, очень быстро Катя и со всем своим отделением, явившимся через два дня в пансион.

Открытая, веселая натура девочки и ее неподкупная простота сразу привлекли к ней сердца пансионеров.

К тому же сами пансионерки считали себя несколько виноватыми перед Ией причиненными ей неприятностями и расположением к младшей сестре как бы хотели оправдать себя в глазах старшей.

Уже с первых дней Ия сумела против воли пансионеров заставить уважать себя. Своей врожденной тактичностью она отпаривала несправедливые нападки воспитанниц и постепенно примиряла их со своей особой. Сейчас же младшая сестренка постепенно помогала ей в этом, посвящая своих одноклассниц в свою интимную домашнюю жизнь, главной героиней которой была та же Ия. Теперь образ молодой девушки осветился в глазах пансионеров совсем с другой стороны. Ее благородный поступок по отношению семьи не был уже тайной для девочек. Откровенная натура Кати не умела скрывать что-либо. Пансионерки совершенно иначе смотрели теперь на молоденькую воспитательницу. Они признали ее. А это-

го было уже достаточно. Образ Магдалины Осиповны постепенно отодвинулся. Сперва инстинктивно, потом сознательно воспитанницы поняли здоровую, сильную натуру Баслановой. Поняли и преимущество ее над мягкой, безвольной и ничтожной, хотя и доброй, Магдалиной Осиповной. И, помимо собственной воли, потянулись к первой. Только две девочки четвертого отделения, самые горячие поклонницы уехавшей Вершининой, питали по-прежнему к Ие ни на чем не основанную упорную вражду.

Эти девочки были: Шура Августова и Зюнгейка Карач.

Глава X.

Каждые два месяца в пансионе госпожи Кубанской происходили письменные испытания по французскому языку. Неимоверно строгий и требовательный monsieur Арнольд, учитель французского языка, обращал особенное внимание на письменные работы воспитанниц. Он придавал им огромное значение.

Недоверчивый, очень опытный в деле школьного образования monsieur Арнольд, зная привычки слабых воспитанниц подсматривать у своих более сильных соседей, рассаживал слабых учениц в часы письменных испытаний за отдельными столиками. И переводы, которые задавались для классных работ, он брал не из учебных пособий: всевозможных Марго, Манюэлей, а составлял сам. Причем

ключ к переводу передавал инспектору. Так было заведено испокон веков, и monsieur Арнольд ни разу не отступил от раз навсегда введенного им обычая. А работы он задавал очень трудные и сбавлял баллы за малейшую ошибку.

Еще за неделю до письменной работы по французскому языку весь 4-й класс сильно волновался. Особенно беспокоилась Зюнгейка Карач. По-французски она ровно ничего не знала, не могла и двух слов написать правильно на этом языке. А вдобавок ко всему она недавно «схватила» пару по русскому сочинению и, если то же повторится и по французскому языку, то, чего доброго, к концу года ее, Зюнгейку Карач, маленькую башкирку из вольных уфимских степей, не переведут в следующий класс.

Этого больше всего боялась Зюнгейка. Боялась отца, который, наверное, рассердится и будет бранить ее, а за ним и мать. И станет так стыдно Зюнгейке, так неловко смотреть в глаза им всем, а особенно крестному отцу, генералу, который вывез ее сюда из ее родимых степей и к которому она ходит в отпуск по праздникам и воскресеньям.

Впрочем, волнуется не одна Зюнгейка Карач, волнуется добрая половина класса. Monsieur Арнольда бояться больше всех других учителей. Он щедр на единицы, и ему ничего не стоит «срезать» на экзамене воспитанницу. Даже желчный Алексей Петрович Вадимов кажется ангелом доброты и

кротости по сравнению с ним.

Маня Струева, Шура Августова, Копорьева, Глухова, Ворг и другие дрожат при одном напоминании о предстоящей письменной работе еще задолго до рокового дня.

И вот он наконец приблизился, этот роковой день.

Накануне его долго не ложились спать в дортуаре четвертого отделения. Пансионерки собирались в группы, тихо совещаюсь о предстоявшем им завтра поражении.

А что поражение будет, в этом ни у кого из них не было ни малейшего сомнения.

Monsieur Арнольд казался все последнее время особенно сердитым и взыскательным.

— Совсем точно с цепи сорвался,— говорила на его счет Зюнгейка.

В этот вечер она казалась особенно взволнованной и кричала и суежилась больше других, пользуясь отсутствием классной дамы. Ии не было сейчас в дортуаре. Она присутствовала на одном из еженедельных заседаний, происходивших каждую среду в квартире начальницы. Присутствовали там все учителя, инспектор и классные дамы других отделений пансиона.

— Не знаю, что бы я дала, лишь бы получить французский ключ к завтрашней работе. Небось, Арнолька у себя в кармане его держит. Никакими силами его у него не извлечь,— сердито ворчала Зюнгейка, заплетая на ночь

свои жесткие, черные, как смоль, непокорные волосы.

— А что, *mesdames*, что если закричать: «Пожар! Горим!» На весь пансион, благим матом. Вся конференция повскачет с мест, засуетится, замечется... А тут подкрасться к Арнольду и вытащить у него из кармана французскую тему перевода,— фантазировала Августова, блестя разгоревшимися глазками.

— Как бы не так, держи карман шире,— приближаясь к группе пансионеров, проговорила Таня Глухова, прищуривая на Шуру свои маленькие глазки,— наверное, французского перевода давно нет у Арнольда. Он передал его еще утром Георгию Семеновичу.

— Как? Уже? Ты все сочиняешь, Глухарь! Неправда! — слышались недоверчивые голоса.

— И совсем не сочиняю,— обиделась Таня.— Я отлично видела, как Арнольд передавал инспектору какой-то конвертик. И сейчас, я знаю наверное, тема уже в столе у инспектора. Надя сама говорила, что он кладет всегда ключ перевода в письменный стол.

— Надя говорила? Надежда... Копорьева?... Правда? Да где же она? Позовите ее! Позовите Надю Копорьеву! — затараторили нетерпеливые девочки.

Красная, смущенная Надя предстала перед подругами, пряча за стеклами очков застенчивые глаза.

— Что вам надо от меня, *mesdames*? — осведомилась она.

— Ты знаешь, где лежит сей-

час ключ к завтрашней работе? В письменном столе твоего отца? Да? — внезапно обрушивается на нее Шура Августова.

— Знаю... так что же?

И глаза под очками устремляются на говорившую удивленный взгляд. И не только одна Копорьева, но и все остальные пансионеры смотрят изумленно на Шуру. И в голове каждой из девочек мелькает одна и та же мысль:

— Неужели же? Неужели у этой отчаянной Августовой мелькнула мысль совершить дерзкий, нечестный поступок?

Но почему же нечестный, однако? Разве сам Арнольд справедливо поступает, задавая такие ужасно трудные темы и мучая всех придирками и своим чрезмерным педантизмом. Ведь он назло им всем тиранит их этими невозможными письменными работами. И кому они нужны, эти работы, которые, кроме одних единиц, не приносят ничего?

И поэтому, когда Шура Августова с возбужденно горящими глазами подходит к Наде Копорьевой и шепотом говорит:

— Ты должна достать во что бы то ни стало у твоего отца тему перевода и дать нам ее, хотя бы на один только час,— ее словам уже никто не удивляется. Даже Ева Ларская, протестовавшая постоянно против всех «выпадов» такого рода и любившая оставаться одною при особом мнении, молчит на этот раз.

Арнольд давно скомпрометировал себя в глазах класса своей

несправедливостью и жестокостью, и провести его хотя бы единственный раз в жизни никто из девочек не считает за грех. И только по лицу одной Нади Копорьевой разливается ужас после того, как она узнает о намерении класса.

— Как хотите, *mesdames*, но я ни за что не полезу в стол отца и не стану выкрадывать тему,— говорит она дрожащим голосом, догадываясь сразу, какой услуги требует от нее Шура.

— Выкрадывать — какое громкое слово! Подумаешь тоже,— далеко не искренним смехом рассмеялась последняя.— Да разве это называется выкрасть, если взять на несколько минут тему с тем, чтобы переписать ее и снова положить обратно в стол?

— Но ведь...

— Безо всяких но, пожалуйста. Если сама не хочешь сделать этого, помоги, по крайней мере, классу. Или и этого не пожелаете сделать, уважаемая госпожа профессорша? — иронизирует Августова, и ее заячья губка презрительно оттопыривается.

— Решайся же, решайся! — кричит Наде Зюнгейка так громко, что на нее шикают со всех сторон.

— Нечего сказать, хорошее, однако, вы задумали дело,— говорит Маня Струева, оглядывая толпившихся и взволнованных девочек.

— Я с тобой согласна — дело неважное,— поддержала ее Катя.

— Ну вот, еще две святоши решили, так тому и быть, значит,—

внезапно закипает гневом Зюнгейка,— а того не понимают, что самому Арнольду любо единицами сыпать... Одна единица, две единицы, три, четыре, много их, как снега зимою. Сколько звезд в небе, столько единиц у француза в журнале,— неожиданно нелепым, но образным сравнением под общий хохот заключает она.

— Оставь их, Зюнгейка,— презрительно машет в сторону Кати и Струевой руками Шура,— разве не видишь, сколько в них святости объявилось вдруг? Нашу Манечку с тех пор, как появилась Катечка, и узнать невозможно. За добродетельность ее живой на небо возьмут.

— Ну, пожалуйста, Августова, оставь их в покое,— неожиданно подняла голос Ева,— действительно, Струеву узнать нельзя с тех пор, как она раздружилась с тобою. И учится лучше, и ведет себя прекрасно, а когда и шалить случается совместно с Катей Баслановой, то никому от этих шалостей вреда нет. Между тем, как...

Но Еве пришлось замолчать, не докончив фразы.

— Не твое дело,— грубо оборвала ее Августова,— и нечего тут мне проповеди читать. Сама не лучше. Отовсюду повыгоняли. Уж молчи! Куда полезнее было бы, нежели нравоченьями-то заниматься,— сообща придумать, как нам раздобыть тему, хоть на полчаса.

— Шура права, давайте думать! — слышались отдельные голоса, и группа девочек сомкну-



лась вокруг Августовой, стараясь найти выход из неприятного положения и облегчить себе задачу на завтрашний день.

Надя Копорьева, Ева, Глухова, Зюнгейка находились тут же.

Только Катя и маленькая Струева оставались в стороне. Им как-то не по душе пришелся задуманный поступок. Впрочем, от класса они не могли да и не хотели отступать.

Это значило бы идти против правила товарищества, столь пространного среди учащихся. И девочки прекрасно сознавали это.

Ночь... Пробило мерных одиннадцать ударов на стенных часах в коридоре, и снова наступила прежняя тишина. В маленькой, состоящей из трех комнат квартирке инспектора классов, находящейся тут же, в здании пансиона, царит та же ничем не нарушаемая тишина.

Сам Георгий Семенович еще не вернулся с затягивавшегося обычно до полуночи заседания.

Прислуга спит в крошечной кухне. Одна Надя, бодрствовавшая в этот поздний час, нервно шагает по гостиной с целой бурей в душе.

— Что же они так долго? Почему не идут?

Ее сердце стучит так громко, что девочке кажется, что она слышит его неровное сильное биение. Или это стучит маятник на часах?

В своем волнении Надя едва сознает действительность.

Уж скорее бы приходили! Ско-

рее кончалась бы эта лютая мука ожидания!

Сама она категорически отказалась участвовать в похищении темы. Она не могла бы ни за что на свете обмануть своего любимого старенького отца. Но открыть дверь «тем», «отчаянным», Надя все же обещала после долгих колебаний и сделок с собственной совестью. Обещала также и указать им дорогу в отцовский кабинет.

Но чего же они ждут, однако? Почему медлят? Или отменили свое безумное решение? Или изобрели новый исход?

Из бледного лица Нади, постепенно краснея, становится алым, как кумач, и с каждой минутой все сильнее и сильнее бьется неутомимое сердце.

Вдруг легкое движение ручки у входной двери в передней оповестило девочку о приходе «заговорщиков».

— Зюнгейка? Августова? Вы? — Прежде, нежели открыть дверь, дрожащим голосом спрашивает Надя.

— Мы! Мы! Отворяй скорее, не бойся!

Дальше все происходит как во сне. Надя, открывши сначала входную дверь, потом другую, дверь отцовского кабинета, и пропустив вперед обеих посетительниц, протягивает дрожащую руку к выключателю. Маленькая комната с большими книжными шкафами освещается сразу.

Глаза трех девочек сразу приковываются к письменному столу!

Увы! Он заперт на ключ... Все ящики до единого...

— Вот незадача-то! — сорвалось с губ оторопевшей Зюнгейки.

Вся дрожа и волнуясь, Надя повторяет только одно:

— Вы видите сами теперь, что нельзя достать темы. Видите, — заперто на ключ. Уходите же, уходите же, ради Бога, скорее! Вдруг заседание сегодня кончится раньше, отец вернется и застанет вас.

Но Шура Августова только усмехнулась в ответ на эти слова.

— Уйти всегда успеется. Георгий Семенович так скоро не вернется. Нам же необходимо употребить все усилия, прежде нежели уйти.

Тут она опустила руку в карман и вытащила из него связку с ключами. С этой связкой в руке Шура подошла к столу.

— В котором ящике прячет обыкновенно Георгий Семенович темы? — принимаясь хозяйничать у замка, спросила она.

Надя молча указала рукой на правый ящик. Ей было безгранично тяжело в эту минуту. Не хотелось обманывать отца и в то же время жаль было подруг, обреченных завтра на получение дурных отметок.

— Только скорее! Ради Бога, скорее! Папа каждую минуту может вернуться с заседания, и тогда...

Легкий крик Шуры заставил ее вздрогнуть всем телом. В тот же миг бледное до прозрачности лицо с выступившими на лбу каплями пота глянуло на нее снизу.

— Я... я... — зашептала испуганная насмерть Августова, — я сломала ключ... В замке осталась одна бородка!.. Что делать? Ах, господи, что-то будет теперь!

— Аллах мой, все пропало! — чуть ли не в голос завопила Зюнгейка.

Надя не нашла даже силы что-либо сказать. Бледная, без кровинки в лице стояла она над злополучным ящиком. Зубы ее нервно стучали. Губы беспомощно двигались. Она вся тряслась.

Опомнилась первая Шура.

— Дело дрянь, но реветь все же не следует. Слезами горю все равно не помочь, — начала она при виде двух крупных слезинок, выкатившихся из глаз Копорьевой, — но и не пропадать же мне одной по милости всего класса! Понятно, надо говорить теперь, что все двадцать человек были здесь и каждая потрудились вдоволь, открывая ящик. И кто из нас сломал ключ, неизвестно. Все открывали, — все сломали, вот и все. А теперь бежим скорее, Зюнгейка! А то инспектор вернется, пожалуй, и тогда пропали наши головушки ни за грош.

Она первая кинулась к двери. За нею поспешила ее спутница.

Надя снова осталась одна. Теперь никто не мешал ей плакать. И упав головой на стол, она, не будучи в состоянии сдерживать слез, горько разрыдалась.

Ей было бесконечно жаль старика отца. Она знала, что поступок пансионерок больно отзовется на



этом достойном и благородном человеке.

Надя прекрасно знала и чрезвычайную чуткость Георгия Семеновича в вопросах чести, а этот поступок, с неудавшимся похищением темы, казался ей самой таким недостойным и некрасивым, хотя она и оправдывала подруг, обвиняя во всем Арнольда.

Но как взглянет на это дело отец? Она так любила своего одинокого старичка, пожертвовавшего ей, Наде, всей своей жизнью. Копорьев рано овдовел и, болезненно любя дочь, не пожелал жениться вторично, чтобы не дать своей Надюшке, как он всегда называл дочь, мачехи. Он сам воспитал, вырастил Надю безо всяких нянек, бонн и гувернанток, трогательно заботясь о ней и живя и работая исключительно для нее одной.

И вот такого-то отца она хотела обмануть вместе с другими чужими ему девочками.

При одной этой мысли слезы Нади полились сильнее и перешли в рыдания.

Среди этих рыданий она не слышала, как позвонили в прихожей, как пробежала мимо отворяя дверь разбуженная звонком прислуга, как зазвучали в соседней с кабинетом гостиной шаги, и опомнилась лишь тогда, когда чьи-то руки обвили ее плечи, а ласковый голос спросил с тревогою:

— О чем, Надюшка, родная моя, о чем?

Вслед за тем произошло то, чего меньше всего ожидала сама

девушка. Надя кинулась к отцу, прижалась к его груди и рассказала ему все, решительно все, без утайки.

Взволнованный горем дочери, Георгий Семенович совершенно растерялся в первую минуту, узнав обо всем случившемся. Потом глубокое возмущение сменило охватившее его в первую минуту беспокойство.

Возмущение против поступка воспитанниц.

Но он не хотел причинять нового страдания Наде и старался лаской, как умел, утешить ее.

На следующий же день после письменного урока французского языка, лишь только monsieur Арнольд отобрал у класса бог весть как сделанные воспитанницами переводы и с видом торжествующего победителя вышел из отделения, туда вошел маленький с седыми бачками старичок.

Это был Георгий Семенович Копорьев. Он подошел к первой парте, оперся на нее руками и взволнованно заговорил:

— Мне известно, что вы были у меня вчера на квартире, чтобы вынуть у меня из письменного стола ключ к французскому переводу. Кто был из вас, для меня безразлично. Меня поразил самый факт. Благодаря одной только счастливой случайности дурной поступок вам не удался и правда вышла наружу. Сама судьба оказалась справедливым судьей. Судить же мне самому о степени порядочности вашего проступка не приходится. Предоставляю вам это

сделать самим. Что же касается меня, то мне совестно огорчать Лидию Павловну такую неприятною новостью. Она так верит в вашу корректность, что я предпочитаю предать забвению весь этот печальный инцидент, жалея разочаровывать ее в ее детях.

Старик инспектор замолчал и обвел притихших воспитанниц грустным, полным укора взглядом.

Глухое молчание было ответом на его слова.

И вдруг, не сговариваясь, неожиданно прозвучало в разных концах комнаты, сначала тихое, потом все более настойчивое и громкое:

— Простите... Георгий Семенович, простите нас!

А через несколько секунд весь класс, как один человек, произнес придушенными волнением в общем хоре голосами:

— Мы умоляем вас простить нас, Георгий Семенович. Ради Бога, простите! Мы умоляем вас об этом!

И ни одна юная головка не задумалась над тем, что этот самый маленький с добрым лицом и седыми бачками человек прибегнет к какой-либо каре, к какому-либо возмездию, вполне заслуженному на этот раз самими девочками. И не из страха перед наказанием так искренне просили они у него прощенья. Было просто жаль этого доброго, мягкого человека, которого искренне любил весь пансион.

Смягченный и растроганный старик невольно просиял.

— Смотрите, дети, не огорчайте же меня подобными поступками,— произнес он твердым голосом и, улыбнувшись расстроенным девочкам ободряющей улыбкой, вышел из класса.

— Ангел! — завопила ему вслед Зюнгейка, срываясь с места.

— Неужели и ты, Катя? Неужели и ты? И ты могла пойти туда, вместе с ними? Ты — наша Катя, мамина дочка, моя сестренка... моя гордость!.. Такая светлая, такая благородная душа!

Ия говорила это, стоя в углу коридора перед младшей сестренкой, и своими пронизательными глазами строго смотрела в черные глаза Кати.

— Нет, Ия, нет, ради бога!.. Не смей думать обо мне так дурно! — взволнованно вырвалось из груди девочки.— Ни я, ни Маня Струева, никто из нас не пошел бы на это. А Надя Копорьева даже плакала из-за всей этой истории. Да и все мы не хотели этого делать, а только...— Тут Катя смутилась и прикусила язык. Выдавать Августову и Зюнгейку Карач она не имела в мыслях.

Ия сразу заметила ее смятение.

— Но кто же, в таком случае, кто пошел доставать ключ к переводу? — допытывалась она у сестры. Потупленные черные глазки Кати поднялись на старшую сестру.

— Не скажу. Не спрашивай лучше, не узнаешь...— И смуглое лицо приняло сердитое выражение, а черные глаза угрюмо блес-

нули знакомым Ие упрямым огоньком.

Так и не узнала ничего от сестры Ия. Не узнала об инциденте и Лидия Павловна — «сама», как ее называли за глаза пансионерки.

Следствием печальной истории был продолжительный разговор инспектора с monsieur Арнольдом, во время которого добрый старик Копорьев, горячась и доказывая, упросил не в меру требовательного француза облегчать письменные работы воспитанниц и задавать им менее трудные переводы.

И monsieur Арнольд, после долгих колебаний, скрепя сердце уступил ему в этом.

Глава XI.

Все ближе, все настойчивее надвигается осень. Короче становятся студеные, но все еще ясные дни. Длиннее черные октябрьские ночи. Дожди, на счастье, редко выпадают в этом году.

Холодные утренники и скупое на ласку, только светящее, но не греющее солнце напоминают о скором появлении зимы.

Уже более месяца незаметно прошло со дня водворения Ии в пансион.

Она постепенно привыкла к своей новой роли. Шаг за шагом завоевывала молодая наставница симпатию воспитанниц и сумела заставить полюбить себя. А присутствие младшей сестренки примирило отчасти Ию с ее далеко не легкой службой классной наставницы.

Ясный студеной полдень. Только что наступила большая перемена между завтраком и следующими за ним уроками, во время которой воспитанницы гуляют по саду.

Этот сад очень изменился со дня приезда в пансион Ии.

Тогда еще зеленые и пышные, только кое-где тронутые блеклыми красками осени стояли кусты и деревья.

Теперь в начале октября листья почти облетели. Только ярко рдеют кое-где налитые пурпуром сочные ягоды рябины. Особенно заманчиво алеют они над маленьким прудом. Свесились кроваво-красными гроздьями над самой водою и повторяются в ней своим красивым, смеющимся отражением.

Эти гроздья особенно привлекают взгляды пансионерок с той минуты, как Катя Басланова рассказала им, что рябину, уже тронутую утренниками, можно снимать с дерева, слегка отваривать в сахарном сиропе и сушить в духовой печке.

— Получается удивительно вкусное лакомство. Так мама у нас всегда готовила в Яблоньках, — заключила девочка, при одном воспоминании о домашнем десерте облизываясь как котенок.

— А ты говоришь, утренники уже тронули рябину? — живо заинтересовалась ее словами Маня Струева.

— А то нет? Видишь, какие ягоды стали, как будто сморщен-

ные немножко. Как раз пора такие же снимать.

— Ну вот и отлично. Будем сшибать их палками. Только жаль, что нам нельзя подходить близко к пруду. С тех пор, как утонула в нем эта несчастная Анна, нам не разрешается даже гулять по прилегающей к берегу дорожке.— И Маня Струева невольно вздохнула при этих словах.

Будь это раньше, когда она дружила с Августовой, Маня не задумалась бы ни на минуту над тем, как раздобывать алые прекрасные грозди, ну, а теперь... Поневоле приходится смириться: она близко сошлась с Катей...

Сама Катя Басланова, шаловливая и подвижная по натуре девочка, со дня отъезда Ии в Петербург круто изменилась.

Она являлась как бы заступницей матери в отсутствие сестры. Забыты были прежние шалости и проказы. Катя остепенилась, стала серьезнее. И сейчас, в пансионе, она, несмотря на свою жизнерадостность и живость характера, так и бившую у нее ключом, была на самом лучшем счету у начальства.

Под влиянием Кати притихла и недавняя «премьерша от шалостей» Струева.

Воспитанницы были вполне правы, что недоразумение, происшедшее у Струевой с Шурой Августовой, послужило на пользу первой.

И сейчас вместо того, чтобы броситься искать по саду палок и камней, которыми можно было бы

сбивать на землю алые гроздья рябины, как бы она сделала это в период своей дружбы с Шурой, Маня покорно дала Кате увести себя подальше от заманчивого уголка сада.

Но если маленькая Струева оказалась такой благоразумной особой, Шура Августова далека была от мысли следовать ее примеру.

Со своей новой подругой Зюнгейкой Карач, раболепно исполнявшей все ее капризы и требования, как это делала когда-то Маня, Шура Августова давно уже бродила вокруг пруда, несмотря на строгое запрещение со стороны начальства ходить туда.

Прячась в кустах, за густо разросшимися гибкими ветвями, которые могли прекрасно служить надежной защитой от нежелательных взоров, Шура в сопровождении Зюнгейки, ни на шаг не отстававшей от нее, поглядывала жадными глазами на заветный уголок.

И не только самый пруд, как запрещенный плод, притягивал к себе Шуру. Ее еще больше привлекали ягоды рябины, соблазнительно алевшие среди осенней листвы.

— Ты слышала, что рассказывала Басланихина сестричка? — шепотом обратилась она с вопросом к Зюнгейке. — Слыхала? Сначала дожидаться мороза. Пусть тронет ягоды. Когда сморщатся, тогда и снимать...

— Палками сбивать! — поправила ее Зюнгейка.

— Зачем палками? Можно руками.

— Как руками? — И глазки башкирки, узенькие, как щелки изумленно поднимаются на лицо Шуры.

— Очень просто. Влезть на дерево и потом снять.

— Да ведь дерево-то над прудом.

— Не все над прудом. Можно сидеть у самого ствола. А ветку с гроздьями притянуть к себе.

— А если увидят?..

— Никто не увидит. Скоро уйдут в класс. А мы можем остаться на несколько минут.

— А Аня?

— Что Аня? Какая Аня?

— Утопленница... Она нас из пруда глядеть будет. Ой, страшно! — И широкие плечи Зюнгейки невольно вздрагивают.

— Вот глупая! Ой и глупая же ты, Зюнгейка! Веришь во всякую ерунду. Да если бы и послушать тебя, так разве днем-то они, утопленницы, показываются что ли?

— А разве только ночью?

— Фу ты какая, не зли меня!

И Шура сердито топает ногою.

Боже, как сердит ее эта наивная, неразвитая дикарка! Как неинтересна ей, Шуре, эта Зюнгейка с ее ребяческими рассуждениями и как она искренно сожалеет о том времени, когда милая, умненькая Маня Струева, а не эта глупая Зюнгейка, была ее подругой!

Неожиданно раздается звонок, призывающий в классы, и из всех углов сада по всем его аллеям

потянулись большие и маленькие пансионерки.

Вот последняя девичья фигурка поднимается по ступеням крыльца и исчезает за дверью.

Аллеи, недавно еще оживленные звуками голосов и молодым беспечным смехом, теперь снова погрузились в молчание. Сад опустел.

— Ну что же, идем, что ли?

Шура дергает за рукав Зюнгейку и указывает ей глазами на пруд.

— Идем, — после недолгого колебания соглашается та.

— А ты не боишься? — насмешливо усмехается она по адресу башкирки.

— Ну вот еще! Чего бояться? Зюнгейка ничего не боится. В черный погреб за кумысом одна под землю спускается. У нас, у отца в селении, у каждой избы такие черные погреба под землею роются. В них кумыс гонят и от жары сохраняют. И на лошади не хуже любого малайки (мальчишки) умею скакать по степи, — хвастливо говорит Зюнгейка, совершенно забывая, по-видимому, свои недавние страхи.

— Ну вот, а «идолища» испугалась?

— Не «идолища», а Анну-утопленницу... Я в «это» верю.

— Ерунда! Просто Басланихи трусишь. В примерные девочки, как Манечка наша, метишь попасть.

— Ничего не трушу. Никого не трушу. Грех тебе так Зюнгейку обижать.

— Ну так идем скорее раздобывать рябину. Ты умеешь по деревьям лазить, а?

— Еще бы? И по горам нашим лазила. У нас среди степи и горы есть. Хоть не высокие, да крутые... Так Зюнгейка по ним, как кошка, как кошка, карабкалась.

— Горы не дерево.

— И на дерево сумею. И на дерево тоже. Зюнгейка все умеет, где только ловкость, силу и проворство надо.— И маленькие глазки башкирки горделиво блеснули.

— Ну коли не боишься, идем!

Теперь обе девочки, взявшись за руки, мчатся к пруду. Небольшое озерко в пять сажень длины и в четыре ширины тихо дремлет под осенним солнцем. Деревья и прибрежные кусты роняют на его сонную поверхность опавшие мертвые листья. Отягощенные алыми гроздьями, ветки рябины отражаются в нем.

Шура кидает беглый взгляд на далекие окна пансиона. Слава богу, опасность не грозит с той стороны. Там все тихо, все спокойно. Вероятно, сейчас начнутся уроки. Все рассядутся по местам. Только места их, Шуры Августовой и Зюнгейки, окажутся пустыми. Что будет тогда? Надо поторопиться, однако. Надо скорее нарвать ягод и бежать в класс.

— Живее, Зюнгейка, живее!

Но башкирку не для чего было торопить. Она и так, с быстротой и ловкостью кошки, вскарабкалась на дерево и сидит сейчас на его

толстом суку, повисшем над водою.

Ее сильная маленькая рука протягивается к ближайшим алочным кистям рябины. Готово — сорвано... Теперь другую, вон ту...

— Скорее, скорее,— стоя под деревом, говорит Шура, переминаясь с ноги на ногу от охватившего ее нетерпения.

Но Зюнгейка как будто и не слышит ее слов. Узкие глазки Карач странно блестят в эту минуту. Лицо, порозовевшее от свежего воздуха, поднято вверх. Душа дикой степнячки, казалось, встрепенулась в ней в этот миг.

Почуввав над собою небо и вокруг себя и под собою гибкие ветви дерева, Зюнгейка в это мгновение как бы слилась с природой. Ведь то же небо, такая же вода и такие же деревья, по которым она лазила с башкирскими малайками их селения, были и там, на ее милой родине, в далеких родных степях. Правда, попадались они редко.

И восторгом, иллюзией свободы повеяло на полудикую дочь степей. Исчезли стены пансиона. Вдали не виднелись уже большие фигуры гуляющих по саду классных дам и воспитанниц, нарушавших гармонию впечатления, и Зюнгейка совсем уже ярко представила себя на воле. Ее смуглое обветренное скуластое лицо сейчас улыбалось счастливой улыбкой, улыбались губы, улыбались монгольские узкие глазки. И, уже забыв о сборе рябины, сложив на

груди маленькие смуглые руки, Зюнгейка мечтательно смотрела вдаль, наслаждаясь всеми фибрами существа своей временной свободой.

Ее настроение не могло ускользнуть от внимания Шуры.

— Зюнгейка! Да что с тобою? Ты там заснула, что ли? — нетерпеливо крикнула та.

— А? Что? Заснула? Нет, нет. Я не сплю... — вздрогнув от неожиданности и словно просыпаясь, отвечала девочка, но то же выражение затаенного восторга по-прежнему оставалось на ее лице.

Тогда Августова вышла, наконец, из себя.

— Глупая этакая, сумасшедшая Зюнгейка! Она, кажется, собирается увидеть там на дереве десятый сон... А тут того и гляди «идолище» хватится нас и сюда нагрянет. Ну как мне привести в себя эту глупую Карач?

Шура думает несколько минут, наморща лоб, сурово сомкнув брови. Вдруг лукавая усмешка проскальзывает по ее губам. Глаза ее с минуту щурятся на Зюнгейку. И, приблизившись к самому дереву, на котором темнеет неподвижная фигурка башкирки, она говорит таинственным тоном и голосом, пониженным до шепота:

— Смотри вниз, Зюнгейка! Смотри скорее вниз!

— Что такое? — шепчет изумленная башкирка.

— Боже мой! Да ты не видишь, разве? Это она!

Румянец мгновенно сбегает с лоснящихся щек Зюнгейки. Она

сильно бледнеет. Бледнеют даже ее припухлые губы. И холодный пот мгновенно выступает на лбу.

— Кто «она»? Кто? — лепечет она помертвевшими губами.

— Как кто? Неужели не догадываешься? Да смотри же, смотри вниз! Вон торчат из воды ее руки... Вон всплыла голова... Не узнаешь разве? Ведь это Анна!

Короткая секундная пауза, во время которой Зюнгейка глядит вниз расширившимися глазами, и вдруг раздирающий душу крик вырывается из уст башкирки. Ее глаза, округлившиеся от ужаса, все еще глядят вниз, в зеленоватую воду пруда. Там действительно виднеются чьи-то протянутые руки и бледное лицо... Если бы страх не затуманил в этот миг сознания Зюнгейки, она бы узнала в отразившемся в воде образе свое собственное лицо и фигуру, но испуганная до полусмерти башкирка уже не могла ничего сообразить от страха и, продолжая испускать отчаянные вопли, она всем телом откидывается назад...

Ее движение так стремительно и быстро и так неудачно в то же время. Зюнгейка плохо рассчитала его... Дрогнула гибкая ветка рябины под ее тяжеловатым телом, скользнула мимо точки опоры нога... Дрожащая рука невольно выпустила из мгновенно ослабевших пальцев соседний сук рябины, и Зюнгейка с новым раздирающим душу воплем смертельного ужаса полетела вниз головою в пруд...

Такой же отчаянный вопль Шуры был ей ответом... На глазах

Августовой плотная небольшая фигурка башкирки, с беспомощно распластанными руками, погрузилась с глухим шумом в воду и тотчас же скрылась под ее поверхностью...

Не помня себя, трепещущая всем телом Шура бросилась бежать по берегу, крича диким, отчаянным голосом:

— Спасите! Помогите! Зюнгейка утонула! Спасите! — И, тут же кинувшись на землю, забилась в истерическом припадке. — Зюнгейка утонула!

Этот крик достиг слуха Ии и бежавших за нею девочек. Как раз в минуту падения Карач в воду они уже были на крыльце, вызванные предшествующими воплями Зюнгейки и, не помня себя от испуга, прибежали в сад. Окинув взглядом представившуюся глазам картину, Ия сразу поняла всю суть ужасного происшествия. За садовой площадкой чернел пруд. Расходившиеся на его поверхности круги еще говорили о катастрофе, происшедшей здесь за минуту до этого.

Еще нагляднее говорило о ней распластannое на берегу быющее в истерике маленькое тело.

В несколько секунд Ия была у пруда.

Одним быстрым движением поставила она на ноги рыдавшую Шуру... И сильно встряхнув ее за плечи, чтобы привести в себя, коротко произнесла:

— Где Зюнгейка?

— Утонула! Утонула! Спасите

ее! — снова отчаянным голосом закричала Шура.

Не говоря ни слова, Ия подбежала к самому берегу и, быстро осенив себя крестным знамением, не размышляя ни одной минуты, как была одетая в платье, одним прыжком бросилась в воду...

Она умела плавать и нырять как рыба.

Еще в раннем детстве мать научила ее этому. В их лесном озере они купались постоянно с Юлией Николаевной и Катей, и во время этих купаний мать заставляла обеих дочерей совершенствоваться в плавании.

— Бог знает, может быть, впоследствии и пригодится когда-нибудь в жизни, — часто повторяла она.

Когда следовавшие за Ией пансионеры во главе с Катей достигли берега, их глазам представилась следующая картина: Ия, мерно взмахивая руками, плыла по поверхности пруда. Вдруг она неожиданно скрылась под водою.

— Она тонет! Тонет! — вырвалось трепетными звуками из груди нескольких человек. Кто-то отчаянно зарыдал, протягивая руки к пруду. Кто-то закричал пронзительно громко на весь сад...

Вся белая, как известь, Катя, стараясь быть спокойной, проронила прыгающими от волнения губами:

— Нет... Нет... Она не утонет... Она хорошо умеет плавать...

А со стороны крыльца уже спешила Лидия Павловна... Ее постоянное величавое спокойствие

изменило ей на этот раз. Все лицо начальницы подергивалось от волнения. Едва передвигая ослабевшими ногами, она спешила к месту катастрофы, с нескрываемым ужасом глядя на пруд.

Два сторожа опередили ее, держа в руках длинные багры, бог весть откуда добытые ими...

Но этих багров им не пришлось пустить в ход... В ту самую минуту, когда испуганная и взволнованная до последней степени Лидия Павловна достигла пруда и смешалась с толпою пансионеров, отчаянно кричавших и плакавших на берегу, на темной поверхности пруда выплыла голова Ии... За головою показалась и вся ее тоненькая фигура. Она усиленно работала правою рукою, тогда как левая прижимала к себе неподвижное тело Зюнгейки.

— Живы! Живы! Они обе живы! — вырвалось одним общим радостным криком у находившихся на берегу людей. Тогда один из сторожей протянул длинный багор Ие... Она ухватилась за него трепещущею рукою... И через минуту уже была на берегу, все еще держа в объятиях Зюнгейку.

Вода текла потоками с обеих девушек. Мокрое платье облепило со всех сторон и дрожащее тело Ии, и неподвижную фигурку Зюнгейки.

— Скорее! Скорее! Спирту... Простыней... Надо ей делать искусственное дыхание... — едва нашла в себе силы произнести

помертвевшими синими губами бережно опуская спасенную девочку на землю...

Все бросились к ним, окружили их, и начался какой-то сплошной сумбур. Кто-то отчаянно рыдал, обнимая ноги Ии... Кто бился в слезах у нее на груди. Кругом нее бегали, суетились, кричали люди...

Лидия Павловна без кровинки в лице сжимала ее холодные как лед, руки и говорила какие-то слова, которые Ия никак не могла понять, ни расслышать.

Откуда-то появились простыни на них положили мокрую неподвижную с помертвевшим лицом Зюнгейку и куда-то понесли ее. Туда же повели и Ию...

Молодая девушка двигалась как автомат, плохо сознавая, куда ее ведут, что с нею хотят делать. В голове шумело. В ушах стоял звон. Опомнилась она вполне только тогда, когда почувствовала на себе сухое белье и тепло постели. Теперь Ия лежала у себя за ширмами, в своем уголке. Приехавший врач выстукивал и выслушивал ее самым добросовестным образом.

Лидия Павловна с тревогой ждала его приговора.

— Ну что? Она не простудится? Не заболит? — тревожно по окончании осмотра обратилась к нему начальница.

— Не волнуйтесь, не волнуйтесь, пожалуйста, будем надеяться на хороший исход. Авось так несвоевременно принятая ванна

не принесет вреда барышне,— ободряюще улыбаясь, говорил доктор.

— А Зюнгейка? Что с нею? Она умерла? — через силу выговорила Ия, продолжая дрожать, как осиновый лист.

— Еще что! Так вот и умерла ваша Зюнгейка,— засмеялся доктор,— нет, милая барышня, так легко не умирают у нас. У вашей Зюнгейки на диво редкостная по здоровью натура. Сейчас я пришлю, если хотите, эту проказницу к вам.

Едва только успел уехать доктор, как в уголок за ширмами пробрался весь четвертый класс во главе с Катей, трепетавшей за здоровье сестры. Последняя с плачем обняла Ию.

— Ия! Иечка! Как ты рисковала собою! — могла только пролепетать потрясенная девочка.

— Вы правы, дитя мое, ваша сестра рисковала собственной жизнью и здоровьем ради спасения Зюнгейки,— торжественно произнесла Лидия Павловна и, обращаясь ко всем пансионеркам, добавила: — С этих пор, дети, вы должны еще больше ценить вашу молодую наставницу, ее светлую, самоотверженную душу, ее на редкость благородное сердце. Зюнгейка Карач! Где ты?

Из толпы пансионерок выдвинулась сконфуженная башкирка, и прежде нежели кто-либо мог удержать ее, она кинулась к ногам Ии, прижалась к ним головою и, обвивая руками ее колени, про-

рыдала, едва выговаривая слова:

— Прости меня, алмазик мой, прости, сердце мое, Аллах мой! Была глупа Зюнгейка, тебя не понимала... За Магдалиночку была зла... А теперь сама больше жизни любить тебя буду и другим велю... Да, да, и другим, и Шуре...

— И Шуре! — машинально повторила Ия, и вдруг вспомнила, как эта самая Шура Августова также плакала там, на берегу пруда.

— Но где же Шура, где Августова? Где? — задала вопрос Ия, не видя ее среди окружавших ее кровать взволнованных и потрясенных девочек.

Шуры Августовой не было здесь. Она отсутствовала. Не было ее ни в классе, ни в рекреационной зале, ни в коридорах, куда бросились ее искать. Кто-то надумал заглянуть в окно... Так и есть, ее одинокая фигура все еще темнела на берегу пруда, всей своей позой выражая глубокое отчаяние... Шура не решалась, казалось, подойти теперь к пострадавшей по ее милости Ие.

К чести Августовой надо было сказать, что она ни одну минуту не задумалась над вопросом, выдаст или не выдаст ее дурной поступок, повлекший за собой такие печальные последствия, Зюнгейка. Нет, один жгучий стыд и полное раскаяние завладели ее вспыльчивым, взбалмошным, но далеко не злым сердцем. И в нем не было места ни трусости, ни страха, ни боязни возмездия.

Глава XII.

— Пойдем! Ия Аркадьевна зовет тебя, Шура...

Когда Катя Басланова, произнося эти слова, приблизилась к одиноко молчавшей на берегу жалкой фигурке Шуры, последняя задрожала с головы до ног...

— Нет! Нет! Ни за что не пойду! Пустите! — с отчаянием вырывалось у нее.

Подошедшая к ней вместе с Катей Ева Ларская взяла за руку Шуру и, крепко держа в руке эти холодные, как лед, пальцы, заговорила:

— Ступай без разговоров. Ия Аркадьевна беспокоится и волнуется, не зная, что с тобою. Кстати, ты одна была с Зюнгейкой и сможешь рассказать, значит, как это случилось, что она упала в пруд...

— Ни за что не пойду! Хоть убейте меня, не пойду! Оставьте меня, оставьте! — И Шура снова забилась и иступленно зарыдала, не желая слушать никаких уговоров, ни утешений. Вдруг она стихла... подняла голову и прислушалась...

— Шура! Шурочка! Почему вы не хотите прийти ко мне! — отдаленно и глухо звучал хорошо знакомый Шуре голос.

Синие глаза девочки поднялись вверх, и сквозь застывший их туман слез Шура Августова увидела Ию.

Молодая девушка стояла у открытого окна дортуара, заку-

танная шалью поверх легкого ночного пеньюара, с распущенными по плечам белокурыми волосами, не успевшими еще хорошенько обсохнуть, и протягивавшей ей издала руки. Несмотря на дальность расстояния, своими дальними зоркими глазами Шура успевала различить и ласковую улыбку на ее бледном, осунувшемся после всех пережитых волнений лице, самое выражение этого лица — исполненного прощения.

Сердце девочки внезапно сжалось, потом забилось сильно-сильно, как пойманная в клетку птица. Светлое видение в окне затопило ее душу жалостью, острой мучительной жалостью до боли, и слез...

Эта бледная девушка с белокурыми волосами, так великодушно простившая, по-видимому ей, Шуре, все ее злые выходки в отношении к себе, показала сейчас Августовой каким-то высоким, неземным существом.

И маленькое взбалмошное, и далеко не злое сердце дрогнуло, раскрылось навстречу Ие...

— Ия Аркадьевна, милая, святая, простите! Ради бога простите меня! — вырывалось из самых глубин души Шуры и, рванув свою руку у Евы, она бросилась бежать по направлению к крыльцу, навстречу Ие, ее протянутым руками ее раскрытым объятиям...

Жизнь в пансионе госпожи Кубанской, выбитая так неожиданно необычайным событием из своей колеи, снова потекла по гладкому

спокойному руслу. Теперь она уже не казалась Ие тяжелой и неприятной.

Благодаря несчастной случайности, едва не стоившей жизни спасенной ею Зюнгейке, Ия окончательно завоевала симпатии воспитанниц.

Не осталось больше ни одной души в классе, которая бы не оценила по заслугам молодую девушку. Прежние враги стали ее лучшими друзьями. Особенно Зюнгейка, обязанная жизнью Ие, привязалась к ней со всем пылом своей полудикой порывистой натуры.

А о Шуре Августовой нечего было и говорить. Недавняя беспричинная ее ненависть к Ие заменилась теперь самой горячей и неподкупной привязанностью. С того самого дня, когда рыдающая Шура покаялась во всех своих проступках перед Ией, девочку нельзя было узнать.

Раз дав слово молодой наставнице изменить свой «несносный», как сама Шура называла его, характер, Августова решила свято сдержать данное ею обещание и круто изменилась со дня происшествия у пруда.

Обычные резкие выходки ее исчезли бесследно. Недобрые шалости тоже. Смертельный испуг, пережитый ею, не прошел без последствий для впечатлительной и восприимчивой натуры девочки.

Таким образом, последняя помеха к благополучию Ии в ее новой жизни была устранена. Те-

перь никакие невзгоды не омрачали уже простиравшегося горизонта ее пансионной жизни. Казалось, что солнце снова засияло и улыбнулось над белокурой головой Ии, как неожиданно новый удар разразился над головой девушки.

Прошло несколько дней с той злополучной минуты, когда молодая воспитательница вынесла из воды чуть было не погибшую воспитанницу. Принятые меры, чтобы оградить обеих девушек, взрослую и маленькую, от неблагоприятных последствий несчастья, казалось, предостерегли от них обеих.

Для железного здоровья Зюнгейки все прошло бесследно. Но нежный, хрупкий организм Ии не выдержал пережитой катастрофы.

Ледяная вода сделала свое дело. Три дня Ия перемогалась, стараясь всячески победить подступавший к ней недуг, глотая хину, аспирин, малиновый чай...

Но ничто не помогало. Лихорадка усилилась. Теперь она ходила ослабевшая, измученная, с усиливающимся с каждым часом жаром в теле, едва передвигая ноги; или тряслась по ночам в жесточайшем ознобе на своей постели. Сильные покалывания в боку заставляли ее по временам невольно вскрикивать от боли. Но Ия все еще крепилась, не желая сдаваться, все еще боролась с незаметно подкравшимся к ней недугом и на все просьбы встревоженной Кати, заметившей ее недомогание,

только отрицательно покачивала головой.

— Нет, нет, пустое, чего там показываться. Перемелется — мука будет.

Но «все» не «перемололось», и в одно несчастное утро Ия уже была не в силах поднять с подушки отяжелевшей головы.

Когда же пансионерки, встревоженные ее осунувшимся лицом и общею слабостью, уговорили девушку поставить градусник, чтобы измерить температуру, термометр показал 40 градусов в какие-нибудь несколько минут.

Поднялась суматоха, волнение. Позвали Лидию Павловну, пригласили доктора.

Снова добродушный старик выстукивал и выслушивал самым внимательным образом Ию и, к ужасу начальницы, констатировал разыгравшееся у больной воспаление легких.

Не медля ни минуты, Ию одели потеплее и в собственной карете Лидии Павловны перевезли в ближайшую больницу. Там ее еще раз осмотрели, выслушали, выстукали. Затем, обложив всю грудь и спину горчичниками и компрессами, уложили в постель.

Но никакие компрессы, никакие горчичники уже не могли предотвратить ужасной болезни. К вечеру температура поднялась еще выше... Все тело Ии горело теперь как в огне. Она теперь уже ничего не помнила, не создавала больше... Действительность исчезла для нее... Начался бред...

Ночь... Чуть светит мягким, ятным светом ночник под зеленым абажуром... Быстро, но шумно двигаются по больничной палате женского отделения белые фигуры сестриц. С крайней слышатся стоны... Запекшиеся жара и потрескавшиеся губы приносят сумбурные, непонятные слова... Белокурая голова бескойно мечется по подушке.

— Пить! — единственное значительное слово срывается больной.

Бесшумно приближается кровати белая фигура сестрицы подносит стакан с прохладительной жидкостью к горячим губам.

— Больно вам, голубушка? Говорит, болит, родная? — спрашивает утихомирившийся голос, и гладко причесанная голова под белой косынкой ниже склоняется над больно. Но больная молчит и дико смотрит в склоненное над нею незнание мое лицо.

Вдруг улыбка, бессознательная, полубезумная, скользит по исхудалому лицу Ии.

— Мама — голубушка... Э вы? — шепчет она. — Не уходит мамочка, моя радость. Здесь так страшно! Какая черная жуткая вода!.. Внизу омут... Там утонувшие говорят, воспитанница... А вот другая... Это Зюнгейка... Смотрите — смотрите! Какая она смелая!.. У нее рыбий хвост и плавание... И корона на голове, как морской царицы... И меч у пояса. Ай, ай, как больно... Зачем она ударила меня своим мечом?

Тут дикий бред переходит в стоны... Сильнее мечется горячее тело... Жарче пылает отуманенная голова.

— Надо впрыснуть морфий, больная беспокоится... — говорит одна сестра другой, и обе, склоняясь над Ией, хлопочут около нее.

А днем приезжают Лидия Павловна с Катей. Иногда они берут кого-нибудь из воспитанниц... Чаще всего Еву, Маню Струеву, Шуру или Зюнгейку Карач, особенно сильно полюбивших Ию. Но Ия не узнает их. Она не слышит плача Кати, не видит взглядов то затаенной надежды, то скорбного отчаяния нескольких пар устремленных на нее встревоженных глаз... Ее здоровье ухудшается с каждым днем, с каждым часом... Болезнь прогрессирует каждую минуту. К воспалению легких присоединился теперь еще и гнойный плеврит.

Однажды больничный доктор, отведя в сторону Лидию Павловну, с серьезным, сосредоточенным лицом сказал ей:

— Есть у больной близкие, родные? Их надо оповестить... Я больше не могу поручиться за ее жизнь... Случай серьезный...

Начальница молча кивнула головой и отошла от него с угрюмым, замкнутым лицом. В тот день она была особенно заботлива и предупредительна к Кате и осторожно приготовила к печальному событию девочку. А вечером в дортуаре четвертого отде-

ления многие из воспитанниц рыдали в голос, узнав о возможной смерти Ии. Другая ходила с бледными, растерянными лицами.

Шура Августова зарылась головой в подушки и повторяла, съедаемая отчаянием, одно и то же, без конца:

— Это из-за меня... Из-за меня одной она умрет... И если только это правда и она умрет, я тоже не хочу жить больше... и не хочу, и не могу...

Со стиснутыми губами, с белым, как снег, лицом около нее появилась Катя...

— Шура, перестань, я сестра ее, а видишь, не прихожу в отчаяние раньше времени. Боже мой, да молчи же, не кричи так! И без тебя тяжело невероятно!

Поздно вечером, когда все пансионерки уже спали, Катя села на кровати за ширмами в уголке сестры и полными отчаяния глазами вглядывалась в темноту осенней ночи.

Смутные думы кружились в ее юной головке. Катя думала о том, что нужно было бы завтра отслужить молебен о здравии болящей рабы Божьей Ии, что необходимо послать телеграмму в Венецию Андриюше о серьезном положении старшей сестры и письмо матери, осторожное, подготавливающее ее к несчастью письмо, чтобы не испугать насмерть их дорогую старушку.

Потом Катя опустила на колени тут же, у постели Ии, и стала горячо молиться, без слов, одними

мыслями, одним своим маленьким сердцем, разросшейся в нем огромной тревогой за сестру...

Опять утро... Сырое, осеннее, с неприятным, нудным дождем, барабнящим в оконные стекла палаты. Серый туман повис над городом и окутал своей промозглой пеленой дворцы и дома, сады, скверы. Нева нахмурилась и потемнела. В это утро Ие был сделан прокол в боку, пораженном плевритом. От боли ли или же вследствие выпущенного из бока гноя, но больная пришла, наконец, в сознание и открыла измученные глаза...

— Андрюша! — сорвалось с ее губ слабым, но радостным звуком.

Над ее койкой между белыми халатами докторов склонилась знакомая голова с густой выющейся гривой. Серые добрые глаза смотрели на нее с неизъяснимой тревогой и любовью... А полные, добродушные губы ободряюще улыбались ей.

— Андрюша! — еще раз слабым голосом произнесла больная и, сделав усилие над собою, протянула руки.

Они были осыпаны в тот же миг поцелуями и залиты слезами, эти бедные, маленькие, до неузнаваемости исхудалые и пожелтевшие ручки.

Андрей Аркадьевич Басланов несколько дней назад примчался в Петербург, взволнованный телеграммой Кати.

Молодой художник уже неде-

лю находился здесь. Он видел больную сестру в самом отчаянном, самом печальном положении все последние дни... Она бредила, стонала и, никого не узнавая, металась в кровати... И только сегодня, после сделанной ей операции, сознательно глядела.

Радость и изумление выражала ее глаза.

— Иечка, родная моя! Узнал! Узнала меня! — сорвалось с губ Басланова, и он осторожно обнял исхудалые, слабые плечи сестры.

С этого дня началось медленное, но верное выздоровление Ии. Слабая, как ребенок, только начинающий учиться ходить, спустя три недели после этого свидания с братом Ия, встав впервые при помощи сестры милосердия из своей больничной койки, подошла к окну.

Двор и сад больницы были уже покрыты снегом. Когда заболела Ия, был только октябрь месяц. Теперь же стояла середина ноября.

С обрезанными волосами, исхудавшим до неузнаваемости лицом, с огромными вследствие этой худобы глазами, Ия казалась теперь скорее хрупким подростком, нежели взрослой восемнадцатилетней девушкой.

Но радость жизни, хлынувшая живительным потоком в ее душу после перенесенной тяжелой болезни, успела уже бросить первые нежные краски на ее измученное лицо и увеличила блеск огромных серых глаз, ставших прекрасными.

Эти глаза заблестели еще

оживленное, еще ярче, когда за спиною девушки послышались знакомые шаги.

— Андрюша! Наконец-то! Ах, если бы ты знал, как я ждала тебя сегодня!

— Здравствуй, Иечка, здравствуй, родная. Привез тебе две радости нынче,— ласково говорил молодой художник, целуя руку сестры,— одна радость в лице Кати греется там в приемной у камина, другая вот здесь.— И он протянул Ие письмо, полученное им накануне из Яблонек.

Старушка Басланова, узнавшая в смягченной форме о болезни, постигшей старшую дочь, писала ей полные материнской заботы и нежности строки.

Ия не могла не прослезиться, читая это письмо. Потом поцеловала его и спрятала в груди.

— Ну а теперь слушай ворох новостей, которые я принес с собою,— улыбаясь проговорил Андрей.— Во-первых, наши переехали в Петербург на постоянное жительство. Всей семьей тут: Нетти, ее родители и двое маленьких внуков князя, детей его старшей дочери от первого брака. Во-вторых, твое место классной дамы в пансионе Кубанской временно занято другой наставницей, и, пока ты окончательно не поправишься и не окрепнешь, я не пущу тебя служить,— тоном, не допускающим возражений, заключил молодой художник.

— Но, Андрюша, что же я буду делать без работы? — испуганно вырвалось у девушки.

— Не беспокойся, работа тебе найдется всегда. Внуки князя нуждаются в хорошей учительнице и гувернантке. Юрий Львович не пожалеет для них ничего, лишь бы иметь в доме хорошего человека в качестве наставницы детей. И тебе куда легче будет заниматься с двумя малышами, нежели воспитывать целое отделение почти взрослых барышень, кстати сказать, довольно распущенных и шаловливых.

— Андрюша, постой, подожди...— волнуясь и густо краснея, прервала брата Ия,— ты так говоришь, точно не желаешь моего возвращения в пансион. Неужели же Катя наболтала тебе чего-либо?

— Что значит наболтала, Иечка? Я действительно знаю все, вплоть до твоего самоотверженного подвига, спасшего жизнь совершенно чужого тебе ребенка. Но это отнюдь не относится к делу. Раз ты находишь возможным оставаться при таких шаловливых и взбалмошных детях, я, со своей стороны, не имею никакого права тебе в этом мешать. Но пока ты лежала здесь без памяти, Лидии Павловне пришлось, хотя и временно, пригласить на твое место одну, очень нуждающуюся в средствах, барышню. Она оказалась хорошей, добросовестной воспитательницей, искренне любящей детей. Со слов Кати, и пансионерки относятся к ней прекрасно. А главное, она совсем бедная и имеет на плечах целую семью. Так неужели же ты, Ия, такая самоотвержен-

ная и благородная натура, пойдешь отнимать у нее место, к которому она успела уже привыкнуть? Конечно, там тебя ждут и примут с распростертыми объятиями. Больше того скажу, твой уход из пансиона будет большим лишением для начальницы и ударом для девочек, но... Но, сестренка, подумай о том, что там, куда я тебя зову, ты еще нужнее... Когда ты увидишь воочию бедных внучат Юрия Львовича, ты поймешь, как им будет нужна такая именно наставница, как ты...

И ласковые серые глаза брата с мольбой взглянули в лицо сестры.

— Хорошо, Андрюша, я подумаю, — задумчиво после некоторого колебания проговорила последняя. И действительно долго и серьезно передумывала она, все взвешивая, прежде, нежели решиться на предложение брата.

Между тем выздоровление Ии быстро подвигалось вперед. Через две недели после вышеописанного разговора молодая девушка уже окрепла настолько, что могла выписаться из больницы.

Ее первым шагом по выздоровлении была поездка в пансион.

С радостным криком сбегались к ней навстречу девочки. Ию тормошили, целовали, обнимали... На всех лицах царила самая искренняя, самая неподкупная детская радость при виде ее.

Особенно льнули к ней ее недавние враги: Шура и Зюнгейка.

Нечего и говорить, что обе девочки выражали ей самые не-

посредственные, самые восторженные чувства.

Увидела Ия и классную даму временно заменившую ее. Увидела и сразу решила дать возможность последней остаться на ее месте.

Худенькая, миниатюрная девушка, с необычайно добрым лицом и со спокойными, полными сдержанного достоинства манерами очень понравилась Ие. А ее обращение с воспитанницами не оставляло желать ничего лучшего.

Когда Ия сообщила о своем намерении Лидии Павловне покинуть пансион и принять место, предложенное ей братом, начальница сильно встревожилась и долго уговаривала молодую девушку отменить это «жестокое», по ее мнению, решение. Но так как Ия все-таки стояла на своем, госпоже Кубанской пришлось поневоле уступить девушке.

Теперь она только просила Ию об одном: в память ее самоотверженного поступка, спасения Зюнгейки, разрешить воспитывать и содержать за счет пансиона ее младшую сестру Катю, на суммы, отпускаемые им благотворительным обществом.

— Это будет как бы медалью за спасение вами погибающей, — любезно заключила свою речь начальница.

Ие, долго колебавшейся принять этот «подарок», как она мысленно назвала предложение начальницы, оставалось в конце концов согласиться.

Катя училась прекрасно и вполне заслуживала освобождения от платы. А эта плата так могла пригодиться Юлии Николаевне в ее маленьком хозяйстве!

Последние колебания исчезли, и молодая девушка с благодарностью пожала протянутую ей Кубанской руку.

Тут же обе они решили скрыть от воспитанниц окончательный уход Ии из пансиона, чтобы не волновать сильно привязавшихся к ней за последнее время девочек.

Детям было сообщено, что для выздоравливающей Ии Аркадьевны необходимы тишина и спокойствие, для чего она и берет про-

должительный отпуск и будет жить у брата.

С таким поворотом дела пансионерки не могли не примириться, и, не подозревая готовящегося им удара, они без особого волнения в тот же вечер всей толпой провожали Ию, уезжавшую от них в дом брата.

Ия уезжала... Недавняя жизнь классной дамы оставалась уже в ее прошлом...

Начиналась новая, еще неведомая, чужая... И с легким смутением, с затаенной тревогой молодая девушка вступила в этот новый, открывшийся перед нею путь...



ГОВОРЯ ОТКРОВЕННО

Журнал наш еще только-только начинается, а в редакцию уже приходят письма.

Их авторы рассказывают о нелегких проблемах, с которыми они сталкиваются в своей повседневной жизни. В некоторых письмах ребята спрашивают у нас совета, есть даже такие, где просят о помощи. Горькие это, щемящие сердце строчки...

Но именно поэтому мы и намереваемся публиковать их в следующих номерах нашего журнала. Там, где будут стоять эти слова:

ГОРЬКИЕ СТРОЧКИ.

У тех же, кто мечтает об откровенном, интимном разговоре со сверстниками, будет своя почтовая рубрика: **ИСПОВЕДАЛЬНАЯ.**

А кое-какими своими мыслями ребятам не вредно поделиться и со взрослыми. Писем такого содержания тоже хватает в нашем почтовом ящике.

Для них мы открываем еще одну рубрику:

ПРОЧТИТЕ СВОИМ СТАРШИМ.

Итак:

ГОРЬКИЕ СТРОЧКИ

ИСПОВЕДАЛЬНАЯ

ПРОЧТИТЕ СВОИМ СТАРШИМ

Ждем ваших писем!

КОГДА Я ВЫРАСТУ...

Когда я вырасту, я замуж выходить не буду. Возьму на воспитание (усыновлю) девочку и мальчика из детского дома, а лучше из дома ребенка. Моя мечта подарить радость и счастье всем детям, но это не в моих силах. Так, может, наши всемогущие министры поднимутся из своих теплых кресел и возьмутся, наконец, за дело? Считаю также, что нужно поддерживать подростка в трудную минуту, а не «перевоспитывать» в колониях, которые, по-моему, нужно бомбами разбомбить.

**Инна ГУРЕВИЧ, 12 лет,
Ташкент.**

МОЖНО ЛИ В 13 ЛЕТ ДРУЖИТЬ С ПАРНЕМ?

Мне 13 лет, и я дружу с парнем, который на два года старше меня. Моя мама говорит, что я еще маленькая для него, что неизвестно, какие у него намерения. Но я-то его хорошо знаю! Дома только и слышишь: «Посуду не вымыла, а как с ним гулять,— идешь, вот сиди дома и делай уроки». Но я и гуляю, и уроки успеваю сделать. «Никто из девочек твоего класса не гуляет с парнем,— говорит мама,— одна ты». Ответьте, пожалуйста, на вопрос: можно ли в 13 лет дружить с парнем?

Без подписи.

МЫСЛЬ
О САМОУБИЙСТВЕ
ПРИШЛА КО МНЕ ЕЩЕ
В ШЕСТОМ КЛАССЕ.

... Почему? Не знаю, просто надоело жить. Во-первых, я поняла, что я ничем не выдающийся человек, а самый обыкновенный. Во-вторых... Для чего я? Зачем? Меня охватила «полная апатия» (как охарактеризовала это состояние сестра). По ночам я часто думала, что это все можно окончить разом: с размаху удариться лбом о бетонную стенку или просто прыгнуть с балкона вниз головой. Единственное, что меня остановило, это боязнь боли. Я не хотела мучений, не хотела остаться на всю жизнь калекой. Потом я поняла, что должна сама иметь детей, что в этом смысл жизни, и успокоилась — на время. Но появился человек, который стал донимать меня своими ухаживаниями. В его руках была власть над всей параллелью. Меня не трогали другие мальчишки, но если он принимался за меня, это был просто кошмар. Один раз на уроке меня застреляли с задних парт рогатками: я терпела, было больно, по лицу текли слезы и пот, холодный и липкий. Мне стоило только сказать слово ему, но... Я проявила гордость. Так с горем пополам я дожидая до каникул: перешла в восьмой класс. Я не помню первого полугодия, оно пролетело быстро и счастливо... Но во втором

полугодии он снова принялся за свое... Тут я не выдержала. (К тому же по городу ходили слухи, что в другой школе девочка отравилась и умерла. Все спорили, кто ругал ее, кто — жалел. А я в душе одобрила ее поступок). Начала курить потихоньку. Девчонки рассказывали о таблетках, я попробовала и их действие. Потом решила, что не нужно их есть постоянно, а то, если захочу отравиться, не хватит. По всему дому я имела тайники, где лежали целые пачки, я копила их. Копила долго и постоянно.

Один раз уж совсем было выпила, но мне помешала мама: пришла на обед. И вот в один прекрасный день тот парень опять довел меня до слез. Из школы я пришла с твердым намерением покончить со всем. Вечером собрала все свое добро, около 6 пачек, а сколько, точно уже не помню, может больше, — выпила.

Пустые пачки выкинула в форточку. Было уже поздно, где-то около 12 или часа. И, чтобы никто ни о чем не догадался, поставила будильник, как всегда, на 7 часов. До сих пор не могу себе этого простить: будильник разбудил меня... Я проснулась и ничего не могла вспомнить, потом вспомнила и ужаснулась тому, что жива. Встала и удивилась: меня так качало, что еле-еле доплелась до туалета. Потом меня вырвало. Рвало целый день, до 9 вечера. А потом все про-

шло. В тот день я поверила в судьбу, в то, что не умру раньше, чем нужно. Я была подавлена, но никто не знал о моем поступке. Родители решили, что я отравилась в школьной столовой. Хотя у мамы, конечно, были подозрения. С того времени у меня плохие почки, болят, если ем таблетки. Курить не могу больше 3—4 штук в день, а потом начинается рвота. Часто проклинаю будильник... Теперь мне плевать на все. Мой парень не верит мне, говорит, что он пробовал и от одной штучки чуть коньки не откинул; а тут шесть пачек.

Он единственный человек, ради которого я еще хочу жить. И он это понимает. Но сейчас его нет рядом, и все пошло по-прежнему. Я хотела ради него бросить курить, но его сейчас нет рядом, он далеко. И опять все пошло к черту! Недавно даже петлю себе смастерила.

Жить скучно, неинтересно, надоело. Никому я не нужна, незаменимых ведь нет. Если умру, никто не заметит, что меня нет. Будет только чуть больше свежего воздуха, и все. А взрослым я не верю, все они притворяются. Да! Любят учить... чему? В наше время только умирать. Фамилию свою не указываю.

Т. С.

КАК НАУЧИТЬ ДАВАТЬ СДАЧИ?

...Нас детей в семье пятеро. Четыре девочки и один мальчик. Братику 6 лет. Мы всегда говорили брату, что девчонки слабее, что нельзя драться, особенно с девочками. И вот результат: в садике брата все обижают, а он боится дать сдачи, сразу же кидается в слезы. Только со своими не церемонится... Мама даже думала в какую-нибудь секцию его отдать, чтобы научился в жизни за себя постоять. На следующий год брату идти в школу, а он так и не научился давать сдачи. Посоветуйте, что делать, как быть?

Оля Ю., 13 лет, Уфа.

А МАМА ПОКАЧАЛА ГОЛОВУ

...Хочу понять, что стоит за понятием «интимная сторона жизни»... Я просто замкнулся на этом и не могу переключиться на что-то другое да и не хочу. Друзья также не знают или так объясняют, что все равно не понятно. Но мне кажется, что они и сами ничего

не знают, просто хотят выделиться и поматериться.

Когда я принес домой фото обнаженных женщин (некоторые из них я посылаю, правда, нечеткое изображение, уже много раз переснимали), отец мне сказал: «Что — на голых баб потянуло? Чтобы больше такого не было!» Вот и весь разговор. А мама к этому отнеслась спокойно, только покачала головой...

Сергей, 16 лет, Приморский край, пос. Новошахтинск.

НЕ ВСЕ ШЛИ В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ

Мне 17 лет, и уже поэтому, наверное, хочется думать и спорить. А тут еще время такое: хочется думать, что все мы личности. Семнадцать лет — это возраст, да и школа почти позади. Однако говорят, что мы медленно деградируем. Мол, сначала была цель, одна на всех, и все шли в одном направлении. А теперь?

Нет, по-моему, мы и раньше не все шли в одном направлении. Конечно, была властная рука в школьной жизни, была Система Взглядов. Но всегда были и те, кто выбивался из общих рамок, не вписывался в

распорядок, да просто и не мог.

Были дисциплинированные, давившие стереотипы поведения и мышления, а были и те, для кого строились ПТУ, СПТУ и т. п.

Вот чему всех удалось обучить, так это коллективизму, который в бездействии личности, в полусне школьной жизни давит чувство безопасности.

Сегодняшние события разбудили всех, дано место мысли и свободе действию. Оказалось, однако, что в школе двигаться никто никуда не хочет. То есть ни у каждого разбуженного появилась своя цель, свои взгляды и пристрастия. И вот результат — всех уже не объединить (пример тому комсомол) в одну гигантскую организацию с дружным движением в одну сторону.

Пишут о бездуховности молодежи. Думаю, отчасти потому, что пишут о различных группировках. Почти все они очень активны. Но мне кажется, что объединяет нас зачастую не общность интересов, а лишь осознание того, что большое дело сделать лучше в коллективе. И вот что интересно: в группировки пошли те, кто лучше сопротивлялся в школьные годы. Сопротивляясь школе, учителям, они оказались лучше, подготов-

леннее к активным действиям. Группировки становятся выразителями идей и интересов. Каких? Старых, конечно. Ведь широту взглядов, духовность школа им привить не сумела. И коллектив здесь играет свою решающую роль.

Пора нашего нравственного созревания пришлось на время, когда появившиеся незыблемые принципы уступили место многовариантности. И перед школьными философами встал все тот же вопрос: «быть или не быть». Я решил сразу быть! В конце концов мы сами в школе уже кое-что значим. Можно поработать и на себя. Есть Совет школы, куда, кстати, и меня выбрали, есть свой политклуб. На деле это клуб школьной перестройки, где мы действуем полностью самостоятельно и независимо от учителей. Обсуждаем вопросы перестройки, школьной реформы. А наша личная ответственность — то единственное, на чем он держится.

Недавно мне удалось познакомиться с некоторыми программами обучения в институтах западных стран. И что удивительно, многое из программы первого курса мне оказалось знакомым: наши ученики знают это по 10—11-му классам. В частности, середина первого курса почти полностью совпадает с материалом нового 10-го класса.

Так почему у них дела идут лучше, чем у нас? От кого это зависит?

Без подписи

Рок- Ведущий Андрей Бурлака, Ленинград Энциклопедия



Группа «Аквариум» занимает в панораме советского рока особое место: именно ее творчество послужило в начале 80-х той отправной точкой, которая позволила отечественной рок-культуре выйти на новый виток эволюционной спирали.

«Аквариум» был создан в июле 1972 года студентом Ленинградского университета Борисом Гребенщиковым (гитара, вокал) и начинающим драматургом Анатолием Гуницким (ударные), к которым на протяжении следующего года присоединились Михаил Васильев (бас) и Андрей Романов (флейта, гитара, фортепьяно). Группа актив-

но сотрудничала со студенческим театром ЛГУ, пыталась записывать доморожденные магнитофонные альбомы, а начиная с осени 1974 года активно участвовала в концертной жизни города, став, в частности, одним из родоначальников замечательной традиции — празднования Дней Рождения «Битлз», — поддерживаемой ленинградскими музыкантами и по сей день.

В 1975 году к «Аквариуму» присоединился еще один с тех пор его бессменный участник — Всеволод Гаккель (виолончель). В 1977 году состав пополнился студентом консерватории Александром

Александровым (фагот). За барабанами в тот же период сменилось великое множество людей: Гуницкий, Кордюков, Плотников, Болучевский, опять Кордюков, пока в 1979 году не возник универсальный и многоопытный Евгений Губерман.

На первых порах существования группы ее репертуар отражал смешанные интересы членов «Аквариума» к рок-н-роллу, восточной философии, бардовской песне и театру абсурда. Следуя провозглашенному в начале своей карьеры принципу «важна не форма, а содержание», лидер «Аквариума» Б. Гребенщиков уверенно экспериментировал как со стилем (в разное время группа прошла через периоды увлечения джазом, панком, рэггей, фолк-барокко и т. п.), так и с составом, вследствие чего количество ее участников варьировалось от двух до двенадцати, а на сцене «Аквариум» представлял то как дуэт гитары и виолончели, то как традиционный рок-состав, то как джазовое комбо с мощной секцией духовых.

Важную роль в создании концепции «Аквариума» как экспериментальной, ищущей новые идеи группы сыграл джазовый пианист и аранжировщик Сергей Курехин, пришедший в «Аквариум» в 1981 году, а впоследствии собравший собственный оркестр «Популярная механика». В тот же период состав «Аквариума» пополнили гитарист Александр Ляпин, басист Александр Титов, барабанщик Петр Троценков.

Далеко идущими последствиями откликнулся для «Аквариума» интерес его участников к звукозаписи. В начале 80-х группа начала сотрудничать со звукорежиссером Андреем Тропилло и его «домашней» студией «АнТроп», на которой в 1980—1986 годах были записаны десять магнитофонных альбомов, зафиксировавших на пленке наиболее интересные работы «Аквариума» тех лет. Разойдясь в миллионах копий, эти альбомы сделали имя и творчество группы известными во всем мире.

Под влиянием Курехина «Аквариум» некоторое время занимался поисками в области джаз-авангарда и музыки свободных форм, сотрудничал на концертах с такими звездами, как Валентина Пономарева и Владимир Чекасин, а Б. Гребенщиков, помимо этого, принимал участие в записи ряда курехинских пластинок.

В последние годы поиски этнических корней рока привели Гребенщикова и «Аквариум» к уникальному сплаву русского и кельтского фольклора, классического рок-н-ролла, музыки Вест-Индии и блюза. С этим были связаны и новые изменения в составе: приход скрипачей Александра Кусуля (трагически погиб в августе 1986 года) и Андрея Решетина, альтиста Ивана Воропаева, отказ от традиционного звучания.

Подлинным триумфом стало выступление «Аквариума» на IV фестивале Ленинградского рок-клуба в июне 1986 года, когда груп-

па в знак своих заслуг была удостоена «Гран при» фестиваля. Вскоре после этого состоялись концерты в крупнейших залах Ленинграда, гастроли по всей стране, фирма «Мелодия» выпустила первый советский диск группы (почти годом раньше «Аквариум» был представлен на вышедшем в США двойном альбоме «Красная волна»).

В апреле 1988 года Б. Гребенщиков заключил контракт с американской компанией Си-би-эс на выпуск ряда альбомов для зарубежного рынка, тем же летом по приглашению организации Врачей за безъядерный мир «Аквариум» выступил в Канаде. В то время как Гребенщиков, увлеченный работой над американской пластинкой «Radio Silence» (она вышла в мае 1989 г.), безвылазно сидел в студии Дэйва Стюарта в Лос-Анджелесе, остальные участники группы занялись сольными проектами: Ляпин уже давно работает со своими «Опытами», теперь его примеру последовали Романов и Васильев, которые организовали группу «Трилистник», а Воропаев выступал на концерте с группой «Нате!» и записывался с «Адо».

Дискография:

1. «Синий альбом» (1981)
2. «Треугольник» (1981)
3. «Электричество» (История «Аквариума», т. II — 1981)
4. «Табу» (1982)
5. «Акустика» (История «Аквариума», т. I — 1982)
6. «Радио Африка» (1983 — кассета, 1988 — пластинка)

«ДДТ»

Б иография ленинградской группы «ДДТ» полна самых невероятных событий и сюжетов, достойных художественного отображения. Превратности судьбы (а порой и чья-то злая воля) бросали ее из города в город, влекли за собой изменения в составе, принуждали музыкантов менять прописку, место работы и социальное положение, выступать нелегально и записывать подпольно свои магнитофонные альбомы. Теперь все это в прошлом, однако те, кто еще недавно запрещал рок, травил честных писателей и художников, душил всякие ростки нового, неказенного и искреннего искусства, все еще живы и ходят среди нас. Об этом — и о многом другом — продолжает петь лидер и единственный неизменный участник «ДДТ» поэт и художник Юрий Шевчук. Одним из первых в советском роке он затронул в своих песнях острейшие проблемы современности: прогрессирующий дефицит сострадания и человечности, диктат бездушного бюрократического аппарата, войну в Афганистане, бедственное положение культуры. Однако главной его темой стал извечный вопрос об ответственности художника за судьбы мира, своей страны, проб-



лема нравственного выбора между сытым соглашательством и подлинной гражданственностью, «квасным» и настоящим патриотизмом. Именно поэтому в середине восьмидесятых «ДДТ» стала одним из тех объектов, по отношению к которым поляризовалось общественное мнение — от полного отрицания до пламенного поклонения, а сама группа каждой новой работой лишь подливала масла в огонь.

Художник по образованию, Шевчук (родился 16.05. 1957 года) начал сочинять песни еще в школе. В 1980 году он получил приз в Уфе на республиканском конкурсе политической песни, а позже объединил усилия с группой местных музыкантов (Владимир Сигачев — клавишные, Рустам Асанбаев — гитара, Геннадий Родин — бас и Рустам Каримов — барабаны), создав

«ДДТ». Два первых альбома, записанные на местной студии, быстро разошлись, сделав имя группы известным всей стране.

В 1982 году они приняли участие в конкурсе «Золотой камертон» и стали его лауреатами, после чего Шевчук и Сигачев переехали в Череповец, где выступали и записывались с группой «Рок-сентябрь». В мае 1983 года «ДДТ» в прежнем составе приняла участие в трехдневном фестивале «Рок за мир», проходившем на стадионе «Динамо» в Москве.

На следующий год в Уфе был записан следующий альбом — «Периферия», после чего участники группы подверглись преследованиям со стороны местных чиновников, пытавшихся вырвать у Шевчука письменное обещание «не сочинять песен!» «ДДТ» фактически распалась, но год спустя возродилась в Москве и в новом

облике. В ноябре 1985 года Шевчук, Сигачев плюс уфимец Нияз Абдюшев (бас) и москвичи Сергей Летов (сакс) и Сергей Рыженко (скрипка) закончили работу над альбомом «Время». В том же году Шевчук переехал в Ленинград.

В Ленинграде в канун нового, 1987 года сложился последний на сегодня состав «ДДТ»: Шевчук, Сигачев (полгода спустя вернулся в Москву, где организовал группу «Небо и Земля»), Андрей Васильев (гитара), Вадим Курылев (бас) и Игорь Доценко (барабаны). Почти сразу к ним присоединился гитарист и скрипач «Санкт-Петербурга» Никита Зайцев, годом позже — клавишник Андрей Муратов (экс-«Зоопарк»), а в сентябре 1988 года — известный джазовый саксофонист Михаил Чернов, в прошлом выступавший с «Аквариумом» и «Популярной механикой».

Ленинградский вариант «ДДТ» дебютировал в январе 1987 года, весной появился перед широкой аудиторией V рок-фестиваля, где — по мнению очевидцев — стал его главной сенсацией, а позднее в том же году участвовал во всесоюзных фестивалях в Черногловке и Подольске. Весной 1988 года они повторили успех у ленинградской публики на сцене Зимнего стадиона, а в начале 1989 года вместе в «Алисой» стали гостями одного из крупнейших фестивалей альтернативной музыки в Будапеште, где венгерское телевидение сняло о них полнометражный фильм. Помимо этого, «ДДТ» и Шевчук принимали уча-

стие в фильмах «Я получил эту роль», «Рок», «Игра с неизвестными», «Публикация» и «Лимита».

В музыкальном отношении «ДДТ» тяготеет к традициям семидесятых годов: рок-н-ролл, блюз, хард-рок, однако к ним часто примешиваются интонации русской частушки, романса, бардовской песни. Именно это позволяет отнести лучшие песни группы к национальному русскому року как к естественному продолжению фольклорных традиций отечественной культуры.

Дискография:

1. «ДДТ» (1981)
2. «ДДТ-2» («Свинья по радуге» — 1982)
3. «ДДТ-3» («Рок-сентябрь», или «Монолог в Сайгоне», — 1983)
4. «ДДТ-4» («Периферия» — 1984)
5. «ДДТ-5» («Время» — 1985)
6. «Москва, жара» (Шевчук и Рыженко — 1985)
7. «ДДТ-6» («Оттепель» — 1987)
8. «Я получил эту роль» (1988 — кассета, 1989 — пластинка)
9. «14» (1984)
10. «Ихтиология» (1984)
11. «День серебры» (1984)
12. «Дети декабря» (1986)
13. «10 стрел» (1986)
14. «Красная волна» (1986 — США, пластинка, 6 песен)
15. «Ансамбль «Аквариум» (1986 — пластинка)
16. «АССА» (1987 — пластинка, 5 песен)
17. «Равноденствие» (1988 — пластинка)
18. «Radio Silence» (1989 — США, Б. Гребенщиков, соло)

«КИНО»

В популярности ленинградской группы «Кино» есть что-то необъяснимое. И действительно, успех, слава, массовое признание обычно находят того или иного исполнителя в результате последовательности определенных событий; им, как правило, предшествуют всплески творческой активности, интенсивная работа, нарастание общественного интереса и постоянное нахождение «на виду». В случае «Кино» все было прямо наоборот. Год «Кино» начался весной 1988, когда группа полностью исчезла с музыкальных горизонтов: не выступала, даже не репетировала, а ее участники были заняты реализацией собственных проектов и, как это может показаться, лишь по чистой случайности выкроили в начале года несколько дней, чтобы завершить находившийся в «полуфабрикатном» состоянии альбом, получивший известность под названием «Группа крови». Он-то и стал катализатором взрыва давно назревавшей «киномании», в считанные месяцы охватившей страну.



А началось все осенью 1981 года, когда на обломках жэковских команд «Палата № 6» и «Пилигрим» возникло трио «Гарин и Гиперболоиды». Пару месяцев спустя его состав сократился до дуэта, а название обратилось в «Кино» — в ту пору под ним скрывались Виктор Цой и Алексей Рыбин. Они вступили в рок-клуб, выступили — при деятельном участии музыкантов «Аквариума» — на его сцене, записали альбом, по суммарному времени звучания полу-

чивший название «45», и исчезли на целый год. Затем выступили еще раз — уже впятером и с «электрической» программой и... распались.

И все же в мае 1984 года «Кино» появилось вновь. Виктор Цой, а вместе с ним Юрий Каспарян (гитара), Александр Титов (бас) и Георгий Гурьянов (барабан) «темной лошадкой» вышли на сцену II Ленинградского рок-фестиваля и произвели сенсацию, став одним из главных открытий этого смотра творческих сил рок-движения. Звание лауреатов фестиваля «Кино» подтверждало еще дважды — в 1985 и 1987 годах. Осенью 1984 года А. Титова сменил Игорь Тихомиров — по совместительству участник «Джунглей» и один из лучших бас-гитаристов страны. С тех пор состав «Кино» — если не считать эпизодических появлений разнообразных гитаристов, перкуссионистов и клавишников, редко игравших с группой больше одного концерта, — остается неизменным.

Песни «Кино» поражают обилием свежих мелодических решений, их аранжировки отличаются сдержанностью и лаконизмом, а отличная ансамблевая игра, в которой вклад каждого участника равнозначен и незаменим, позволяет говорить о них как о классическом образце рок-группы.

В текстах Виктора Цоя — а именно он является автором практически всего репертуара «Кино» — романтически возвышенные образы смешиваются с сугубо реалистическими, бытовыми зарисовка-

ми с натуры, отражая внутренний мир современного молодого человека. Острые, почти публицистические обращения соседствуют в песнях «Кино» с добрым юмором, а иногда и едкой иронией, которая вообще характерна для поэтического языка Цоя. В более поздних работах группы заметно «повзросление» ее героя, отход от наивного бытописания жизни дворов и подворотен к более серьезным проблемам, призывы к действию, поступку, жажда нравственного совершенства.

В последние годы — особенно после успеха «Группы крови» — творческая активность группы значительно возросла. «Кино» регулярно выступает в Ленинграде, периодически гастролирует. В 1989 году группа дважды побывала за рубежом — на благотворительных концертах в Дании и на крупнейшем во Франции рок-фестивале в Бурже. Их музыка звучит в фильмах «Рок», «АССА», «Город», «Игла» — в последнем из них Виктор Цой дебютировал как исполнитель главной роли.

Дискография:

1. «45» (1982)
2. «46» (1984)
3. «Начальник Камчатки» (1984)
4. «Это не любовь» (1985)
5. «Ночь» (1986 — кассета, 1988 — пластинка)
6. «Красная волна» (1986 — США, 6 песен)
7. «Группа крови» (1988)
8. «Звезда по имени Солнце» (1989)
9. «Кино» (1989 — Франция)

Я НЕ ЗНАЛ, КАК ЖИТЬ...

ВСЕ ОТ ВИНТА!

Рука на плече. Печать
на крыле.
В казарме проблем — банный
день. Промокла тетрадь.
Я знаю, зачем иду по земле.
Мне будет легко улететь.
Без трех минут — бал восковых
фигур.
Без четверти — смерть.
С семи драных шкур — шерсти
клок.
Так хочется жить — не меньше,
чем спеть.
Свяжи мою нить в узелок.
Холодный апрель. Горячие сны.
И вирусы новых нот в крови.
И каждая цель ближайшей войны
Смеется и ждет любви.
Наш лечащий врач согреет
солнечный шприц,
И иглы лучей опять найдут нашу
кровь.
Не надо, не плачь. Лежи
и смотри,
Как горлом идет любовь.
Лови ее ртом — стаканы тесны!
Торпедный аккорд — до дна.
Рекламный плакат последней
весны



Качает квадрат окна.
Эй, дырявый висок! Слепая орда.
Пойми — никогда не поздно
снимать броню.
Целую кусок трофейного льда,
Я молча иду к огню.
Мы выродки крыс. Мы — пасынки
птиц.
И каждый на треть — патрон.
Так лежи и смотри, как ядерный
принц
Несет свою плеть на трон.
Не плачь, не жалея. Кого нам
жалеть?
Ведь ты, как и я — сирота.
Ну, что ты? Смелей! Нам нужно
лететь.
А ну от винта! Все от винта!

Он жил на грани двух эпох, на грани допустимого в искусстве, на грани возможного в жизни совсем молодого человека. Песни Башлачева — это и судьба его «поколения дворников и сторожей», и смех скomorоха, и эхо Есенина, и хор былины. Что означал его добровольный уход из жизни — этот грохот распахнутого окна в никуда?.. Когда читаешь и перечитываешь его стихи, кажется, что в каждой строчке ощущается предчувствие трагического, столь обнажена, ранима и болезненна эта душа, столь тяжкий груз взвалила она на себя — боль, грех, стыд, раскаяние, надежду и любовь поколения. Строчки его стихов, горькие и раздумчивые, веселые и злые, полны именно этой любовью — через край. А когда мир так неустроен, несовершенен и так беспощаден ко всему, что любимо? Наверное, можно и это пережить. Наверное, можно. Он не смог. И в этом не его вина...

★

Влажный блеск наших глаз...
Все соседи просто ненавидят нас.
А нам на них наплевать,
У тебя есть я, а у меня —
диван-кровать.

Платина платья, штанов свинец
Душат только тех, кто
не рискует дышать.
А нам так легко. Мы наконец
Сбросили все то, что могло
нам мешать.

Остаемся одни,
Поспешно гасим огни,
И никогда не скучаем.
И пусть сосед извинит
За то, что всю ночь звенит
Ложечка в чашке чая.
Ты говоришь, я так хорош...
Это от того, что ты так хороша
со мной.

Посмотри — мой бедный еж
Сбрил свои иголки. Он совсем
ручной.

Но если ты почувствуешь
случайный укол,
Выдерни занозу, обломай ее края.
Это от того, что мой ледакол
Не привык к воде весеннего
ручья.

Ты никогда не спишь.
Я тоже никогда не сплю.
Наверно, я тебя люблю.
Но об этом промолчу,
Я скажу лишь
То, что я тебя хочу.
За окном снег и тишь.
Мы можем заняться любовью на
одной из белых крыш.
А если встать в полный рост,
То можно это сделать на одной
из звезд.
Наверное, мы зря забываем вкус
слез.
Но небо пахнет запахом твоих
волос.
И мне никак не удастся
успокоить ртуть,
Но если ты устала, я спою
что-нибудь.
Ты говоришь, что я неплохо пою.
И в общем, это то, что надо.
Так это очень легко.
Я в этих песнях не лгу.
Видимо, не могу.
Мои законы просты —
Мы так легки — мы чисты.
Нам так приятно дышать.
Не нужно спать в эту ночь,
А нужно выбросить прочь
Все, что могло мешать.

КАК ВЕТРА ОСЕННИЕ...

Как ветра осенние подметали плаху,
Солнце шло сторонкою, да время стороной.
И хотел я жить, и умирал, да сослепу, со страху,
Потому, что я не знал, что ты со мной.
Как ветра осенние заметали небо,
Плакали, тревожили облака.
Я не знал, как жить, ведь я еще не выпек хлеба,
А на губах еще не сохла капля молока.
Как ветра осенние да подули ближе.
Закружили голову и ну давай кружить.
Ой-ей-ей, да я сумел бы выжить,
Если бы не было такой простой работы — жить.
Как ветра осенние жали, не жалели рожь.
Ведь тебя посеяли, чтоб ты пригодился.
Ведь совсем неважно, отчего помрешь,
Ведь куда важнее, для чего родился.
Как ветра осенние уносят мое семя,
Листья воскресения да с веточки весны.
Я хочу дожить, хочу увидеть время,
Когда мои песни станут не нужны.

ПАЛАТА №6

Хотелось в Алма-Ату — приехал в Воркуту
Строгал себе лапту, а записался в хор.
Хотелось «Беломор» — в продаже только «Ту».
Хотелось телескоп, а выдали топор.
Хотелось закурить, но здесь запрещено.
Хотелось закирять, но высохло вино.
Хотелось объяснить. Сломали два ребра.
Пытался возразить, но били мастера.
Хотелось одному — приходится втроем.
Надеялся уснуть — командуют «Подъем!»
Хотелось полететь — приходится ползти.
Старался доползти. Застрял на полпути.
Ворочаюсь в грязи. А если встать, пойти?
За это мне грозит от года до пяти.
Хотелось закричать — приказано молчать.
Попробовал молчать, но могут настучать.
Хотелось озвереть. Кусаться и рычать.
Пытался умереть — успели откачать.
Могли и не успеть. Спасибо главврачу
За то, что ничего теперь хотеть я не хочу.
Психически здоров. Отвык и пить, и есть.
Спасибо. Башлачев. Палата № 6.

ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ И ДРУГИЕ ДРЕВНИЕ ЛЕГЕНДЫ

ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ

Это было так давно, что никто уже не помнит, когда это было. Рассказывают, однако, будто в те времена все люди говорили на одном языке и все друг друга понимали.

И захотелось людям оставить память о себе на веки веков.

— Давайте соберемся все вместе и выстроим высокую башню! — сказал один.

Все обрадовались и закричали:

— Мы выстроим башню, мы выстроим башню, мы выстроим башню до самого неба!

Выбрали высокую гору — и закипела работа! Одни месят глину, другие лепят из нее кирпичи, третьи кирпичи эти в печах обжигают, четвертые возят их на гору. А наверху уже люди стоят, принимают кирпичи и складывают из них башню.

Все работают, всем весело, все поют песни.

Башня строилась не год и не два. Одних кирпичей для нее понадобилось тридцать пять миллионов! И для себя пришлось еще дома построить, чтобы было где отдыхать после работы, а возле домов посадить кусты и деревья, чтобы птицам было где петь.

Целый город вырос вокруг горы, на которой строилась башня. Город Вавилон.

А на горе с каждым днем все выше и выше, уступами, поднималась красавица башня: внизу широкая, кверху все уже и уже. И каждый уступ этой башни красили в разный цвет: в черный, в желтый, в красный, в зеленый, в белый, в оранжевый. Верх придумали сделать синим, чтобы был, как небо, а кровлю — золотой, чтобы, как солнце, сверкала!

И вот башня почти готова. Кузнецы уже золото куют для кровли, маляры окунают кисти в ведра с синей краской. Но вдруг, откуда ни возьмись, появляется среди людей сам Ягве. Не понравилось ему их затае — выстроить башню до само-



го неба. Не захотел он, чтобы люди добрались до неба.

«Это оттого они умудрились свою башню выстроить,— подумал он,— что у них один язык и всякий человек понимает другого. Вот они и договорились!»

И наслал Ягве на землю великую бурю. Пока буря бушевала, ветер унес все слова, которые люди привыкли друг другу говорить.

Вскоре буря утихла, и люди снова принялись за работу. Они еще не знали, какая беда их постигла. Кровельщики пошли к кузнецам сказать, чтобы те скорее ковали тонкие золотые листы для кровли. А кузнецы не понимают ни слова.

И во всем городе Вавилоне люди перестали понимать друг друга.

Маляр кричит:

— Краска кончилась!

А у него получается:

— Номорпэнт!

— Ничего не понимаю! — кричит ему снизу другой.

А получается:

— Жэнэком пренепá!

И по всему Вавилону раздаются слова, понятные одним и непонятные другим.

— Виндадóры!

— Маракири!

— Бобэóби!

— Дзын!

Все побросали работу, ходят как в воду опущенные и ищут: кто бы мог их понять?

И стали люди собираться кучками: кто с кем говорит одинаково, тот с тем и старается держаться. И вместо одного народа получилось множество разных народов.

И разошлись люди в разные концы земли, каждый народ в свою сторону — строить свои города. А башня стала мало-помалу разваливаться.

Но говорят, что до сих пор в каждом городе можно найти обломки кирпичей от Вавилонской башни. Потому что многие уносили их с собой на память о тех временах, когда на земле был мир и люди понимали друг друга.

И до сих пор на всех языках света люди рассказывают эту сказку о недостроенной Вавилонской башне.

Пересказала Т. ЛИТВИНОВА

ИОСИФ И ЕГО БРАТЬЯ

I

В давние-давние времена жил в земле Ханаанской человек по имени Иаков.

Двенадцать сыновей было у Иакова, но больше всех он любил Иосифа. Все сыновья Иакова ходили в простой, грубой одежде, а Иосифу подарил отец красивое цветное платье. И был Иаков ласковее с Иосифом, чем с другими сыновьями. И братья завидовали Иосифу и невзлюбили его.

— Давайте убьем его, — решили они, — и бросим в ров у дороги. И скажем, что хищные звери растерзали его.

Но один из братьев, Рувим, был добрее других, он не хотел, чтобы свершилось злое дело.

— Зачем убивать его? — сказал он. — Зачем проливать кровь? Ведь он брат наш. Давайте просто бросим его в ров и оставим здесь.

Пусть погибает один в пустыне.

Он сказал так, чтобы братья не разгневались на него, а сам втайне подумал, что, когда все уйдут, он вернется и спасет Иосифа.

Между тем Иосиф подошел к братьям, поздоровался с ними и отдал еду, посланную отцом. Вдруг братья набросились на него, сорвали с него красивую цветную одежду, связали его и бросили в ров. А сами сели обедать.

Рувима же послали искать отбившуюся от стада овцу, чтобы он не мог спасти брата.

Вдруг вдали на дороге послышался звон бубенцов: это приближался караван верблюдов, на которых купцы везли товары в Египет.

Увидев караван, старший брат сказал:

— Зачем нам убивать Иосифа? Давайте лучше продадим его купцам! Пусть отведут его в Египет.

И продали братья Иосифа за двадцать серебряных монет купцам, которые направлялись в Египет. Иосиф ушел с караваном, а братья закололи козленка и кровью его вымазали цветную одежду Иосифа. И погнали свои стада домой.

Рувим вернулся, не найдя овцы, и не увидел на том месте ни братьев со стадами, ни Иосифа во рву.

Когда братья пришли домой, они принесли отцу окровавленную одежду Иосифа и сказали:

— Мы нашли ее на дороге — не Иосифова ли это одежда? Верно, хищные звери растерзали его.

Иаков узнал одежду Иосифа и поверил, что хищные звери растерзали его любимого сына, и горько заплакал. И заплакал юноша Рувим, что не уберег брата от злой смерти. Долго горевал Иаков и оплакивал Иосифа и никак не мог утешиться.

А караван шел в Египет, и проданный братьями Иосиф уходил все дальше от родного дома.

II

В Египте купцы-караванщики продали Иосифа в рабство египтянину Потифару. Потифар был начальник стражи фараона, царя египетского. Он взял Иосифа к себе в дом и скоро, увидев его усердие, сделал его управителем всего своего хозяйства. Иосиф так хорошо справлялся с делами, работал так старательно и честно, что Потифар доверил ему и все свои богатства. Иосиф был статный, красивый, сильный. Он понравился жене Потифара, злой и коварной женщине. А когда Иосиф сказал ей, что не любит ее, жена Потифара разозлилась и решила отомстить ему. Она пошла к Потифару и пожаловалась — свалила свою вину на Иосифа.

— Вот твой любимец, этот раб хотел обмануть тебя, — сказала она.

Хозяин поверил ее лживым словам и приказал заточить Иосифа в тюрьму. Так, без всякой вины Иосиф очутился в темнице.

Скоро все узники полюбили его, потому что он был добрый, умел улаживать ссоры и помогал всем. И тюремщик поручил ему раздавать узникам пищу.

В это время египетский царь — фараон — за что-то разгневался на своих царедворцев: на виночерпия, который разливал вино за царским столом, и на хлебодара, который раздавал хлеб на пирах фараона. Он приказал посадить обоих в тюрьму. Они попали туда же, где находился Иосиф, и тюремщик поручил ему прислуживать им.

Как-то поутру оба узника про-



снулись печальные. Иосиф спросил, почему у них нынче такие грустные лица.

И оба сказали ему:

— Мы видели странные сны и не знаем, что они значат.

Вот что рассказал виночерпий:

— Мне снилось, будто я в винограднике. Передо мною виноградная лоза, а на ней три ветви. Я увидел, как они зацвели, как появились на них ягоды, как налились и созрели гроздья. Я взял чашу фараона, и выжал в нее виноградный сок из этих гроздьев, и подал чашу фараону. Вот что я видел нынче во сне.

Иосиф сказал:

— Три ветви — это три дня. Через три дня фараон вспомнит о тебе, и велит освободить тебя из темницы, и простит тебя, и ты снова будешь у него виночерпием. Когда ты вернешься во дворец, будь милостив, напусти на меня обо мне и вызволи меня отсюда, потому что я сижу здесь напрасно, нет за мной никакой вины.

Услышав, как разгадал Иосиф сон виночерпия, хлебодар сказал:

— А мне приснилось, что я держу на голове три плетеные корзины — одну за другой. В самой верхней корзине — хлеб для царского стола. И птицы клюют этот хлеб из корзины на моей голове.

— Три корзины — это три дня. Через три дня фараон прикажет вывести тебя из темницы и повесить на дереве. И птицы будут клевать твою голову.

И все сбылось, как сказал Иосиф: через три дня фараон на пиру вспомнил про своего виночерпия, приказал вернуть его из темницы и велел ему снова прислуживать за царским столом. А хлебодара фараон приказал повесить.

И хлебодар умер, а виночерпий

на радостях забыл про Иосифа.

Прошло два года. Однажды фараону приснился сон: стоит он у реки и видит, как из реки выходят семь коров, тучных и жирных, и пасутся на берегу. Потом выходят из реки семь коров худых и тощих. И чудо: семь тощих коров съели семь тучных и не стали от этого толще... Проснулся фараон, подивился такому сну и заснул опять. И опять увидел сон: стоит он в поле и видит на одном стебле семь колосьев. И каждый колос полон спелых зерен. А рядом растут семь колосьев пустых, иссушенных знойным ветром. И вдруг не стало спелых колосьев: их поглотили пустые и не сделались от этого толще.

Проснувшись, фараон созвал всех мудрецов Египта и велел им разгадать его сны.

Но никто не мог разгадать их. Тут вспомнил виночерпий про Иосифа и сказал:

— Когда я сидел в темнице, со мной вместе был один раб. Звали его Иосиф. Он умел разгадывать сны.

Фараон приказал привести к нему Иосифа. Узника вывели из темницы, остригли и вымыли, надели на него чистую одежду и привели во дворец. Фараон рассказал Иосифу свои сны. Иосиф подумал и объяснил фараону:

— Царь, оба сна — об одном и том же. Это вещие сны: судьба подает тебе знак. Семь коров тучных и семь колосьев полных — это семь лет урожая. Семь лет люди будут сыты и богаты. Семь коров тощих и семь пустых колосьев — семь лет засухи и голода. Тяжко будет людям в эти годы. Сон твой, царь, повторился дважды — значит, все так и будет. И тебе надо позаботиться о будущем. Повели в годы



изобилия собирать пятую часть от всего урожая и сохранять повсеместно во всех городах и селениях. И эти запасы помогут тебе спасти от голода народ Египта, когда наступят неурожайные годы.

Услышав слова Иосифа, приближенные фараона сказали:

— Надо найти теперь же разумного и честного человека и поручить ему собирать и хранить запасы.

Фараон сказал Иосифу:

— За то, что ты разгадал мои сны и предотвратил беду в Египте, поручаю тебе собирать хлеб в годы изобилия и хранить его для голодных лет. Ты будешь вторым после меня лицом в Египте, выше всех моих придворных я поставлю тебя и всем прикажу повиноваться тебе, как мне самому.

И снял фараон свой драгоценный перстень и надел его на палец Иосифа. И приказал нарядить Иосифа в богатые одежды, повесить ему на шею золотую цепь и дать ему коней и колесницу, чтобы он мог разъезжать по всей земле египетской.

Семь лет собирал Иосиф пятую часть урожая в Египте. В каждом селении, в каждом городе устроил он житницы, где хранились эти запасы. Так много зерна собрал он в Египте — как песку морского, который невозможно сосчитать.

Но вот прошли семь лет урожайных, и настали годы засухи и неурожая. Голод начался на всей земле, и только в Египте были большие запасы хлеба.

Тогда приказал фараон Иосифу открыть житницы и раздавать хлеб народу.

И из других земель стали приезжать люди в Египет за хлебом.

III

Голод начался и в земле Ханаанской. Иаков созвал сыновей и сказал им:

— Говорят, что в Египте есть хлеб. Надо пойти вам в Египет и купить хлеба, чтобы мы не погибли от голода.

И пошли братья Иосифа в Египет за хлебом. Дома остался только младший — Вениамин. Иаков оставил мальчика дома, боясь, как бы не случилось с ним беды в дальней дороге.

Братья Иосифа пришли в Египет и вместе с другими желавшими купить хлеба явились к начальнику, который распоряжался всеми запасами. Это был Иосиф, но братья не узнали его, потому что он стал старше, был богато одет и казался им очень важным. А Иосиф узнал их сразу, но не подал виду, что знает их.

— Откуда и зачем вы пришли в Египет? — спросил он сурово.

— Мы из земли Ханаанской пришли купить хлеба, потому что мы голодаем, — отвечали братья Иосифу.

— Неправда! — прервал он их. — Вы наши враги, вы пришли высмотреть, где у нас плохо, чтобы потом напасть на нас.

Братья возразили:

— Нет, господин наш, мы честные люди. Мы дети одного отца, имя ему — Иаков. Он послал нас сюда за хлебом и дал нам серебра, чтобы мы заплатили за хлеб.

И они стали рассказывать ему про отца своего, про свой дом и про всю свою семью.

— Нас было двенадцать братьев, — говорили они. — Один уже давно покинул нас, а младшего отец оставил дома.

Иосиф слушал их, опустив глаза. Он сделал вид, что не верит им, и приказал взять их под стражу. Через три дня он велел привести их к себе и сказал:

— Вот что: если вы честные люди и у вас нет никакого злого умысла, пусть один из вас останется здесь заложником, а другие пойдут отнесут хлеб вашему отцу и приведут сюда младшего брата. А не то я прикажу вас казнить.

Братья заговорили между собою на своем родном языке. Они думали, что этот язык для Иосифа чужой и что он не понимает его.

— Это нам наказание за Иосифа, — сказал старший брат.

А Рувим сказал:

— Говорил я вам: не губите брата. Вот вам отмщение за злое дело.

Услышав это, Иосиф вышел в другую комнату и там заплакал. Потом приказал одного из братьев оставить заложником. А всех других повелел отпустить с полными мешками зерна, и дать им еды на дорогу, и тайно от них положить в мешки с зерном серебро, которым они заплатили за хлеб.

И отпустил их.

В пути один из братьев развязал свой мешок, увидел в нем серебро и закричал:

— Смотрите, у меня в мешке серебро, которое я отдал начальнику за хлеб!

Удивились братья, развязали свои мешки и в каждом нашли серебро. Страшно им стало: что теперь будет с их братом, которого они покинули в Египте заложником?

Вернувшись домой, они рассказали отцу, что с ними случилось в Египте. Когда Иаков узнал, что

начальник потребовал привести к нему Вениамина, он не захотел отпустить его.

IV

Между тем голод в земле Ханаанской усиливался. Скоро семья Иакова снова осталась без хлеба. И снова Иаков посылает в Египет своих сыновей. Но старший сын говорит отцу:

— Мы не можем идти в Египет без Вениамина. Ведь начальник строго приказал нам привести его. Мы пойдем еще раз в Египет за хлебом, если тыпустишь с нами Вениамина.

— Зачем вы сказали начальнику про вашего младшего брата? — горестно упрекал их Иаков.

— Начальник так расспрашивал нас обо всем — о тебе и обо всем нашем семействе... Мы не знали, что у него на уме.

Старший сын сказал отцу:

— Отпусти Вениамина! Обещаю тебе: все мы вернемся живыми и привезем хлеба. А нет — делай со мной все, что хочешь.

Долго раздумывал отец, наконец согласился.

— Возьмите, — сказал он, — что у нас есть самого дорогого — бальзаму, меду, орехов, миндаля, — и отнесите в дар от меня египетскому начальнику. Верните ему серебро, которое оказалось в ваших мешках, и отдайте еще серебро — последнее, что осталось у нас в доме. Возьмите с собой Вениамина и скажите начальнику, что я прошу его быть милостивым к моему младшему сыну и не причинять ему зла.

Братья пошли опять в Египет и пришли к дому Иосифа. Иосиф увидел их в окно — и Вениамина с ними — и приказал слугам:

— Введите этих людей в дом. И зажарьте лучшего козленка. В полдень они будут обедать со мной.

Братья испугались, когда слуги повели их в дом. Они думали, что их хотят задержать как воров, утаивших серебро, и стали объяснять, что они ни в чем не виноваты.

Тут вышел к ним брат, который оставался заложником у Иосифа, и они очень обрадовались.

Слуги дали им воды — обмыть руки и ноги.

В полдень Иосиф появился перед братьями, и они передали ему дары отца. Он спросил: «Как здоровье старика?» Они сказали: «Еще жив».

— А это младший наш брат, Вениамин, которого ты велел привести, — сказали братья и поставили Вениамина впереди всех.

И Вениамин поклонился Иосифу.

— Да будет с вами милость божья! — сказал Иосиф.

Но он так был изволнован встречей с братом, что ушел в другую комнату, чтобы скрыть слезы, которых не мог удержать. Потом, умыв лицо, он снова вышел к братьям и приказал подавать обед. За столом Иосиф сидел отдельно от братьев и самые лучшие куски от каждого блюда посылал Вениамину. Братья пили и ели и благодарили Иосифа.

На другой день Иосиф приказал наполнить их мешки хлебом и положить туда все серебро, которое они привезли в уплату. А в мешок младшего брата велел Иосиф положить серебряную чашу, из которой сам пил за обедом. И отпустил их домой.

На рассвете братья вышли из города, погоняя ослов, нагруженных мешками с хлебом. Но не успе-

ли они далеко отойти, как их нагнал слуга Иосифа и сказал им:

— Как могли вы отплатить злом за добро нашему господину? Почему украли вы его любимую серебряную чашу, из которой он пил вчера с вами?

Они возмутились:

— Мы не сделали ничего плохого. Мы не крали серебряной чаши господина. Как могли мы взять что-либо из его дома? Мы ведь сами вернули все серебро, какое нашли у себя в мешках... Общайте нас. И если у кого найдется чаша — казните его!

— Нет, — сказал слуга. — Господин повелел так: у кого найдется чаша, тот пусть вернется к нему и будет его рабом. А вы все можете идти дальше.

Братья развязали мешки. Чаша нашлась в мешке Вениамина. И слуга повел его за собой обратно в город.

Но братья не могли оставить Вениамина в беде и все вместе вернулись в дом Иосифа. Иосиф стал укорять их, и тогда старший брат сказал Иосифу:

— Господин мой, я знаю, ты в Египте самый главный начальник после фараона, ты волен сделать с нами что захочешь, но прошу тебя, выслушай меня. Когда я сказал отцу, что ты требуешь привести к тебе нашего младшего брата, отец не хотел отпускать его с нами. «Два любимых сына были у меня, — сказал он. — Одного растерзали хищные звери, а другого вы хотите увести в неволю. Если я потеряю еще и этого — я умру с горя». Вот что сказал нам отец. А я успокоил его и обещал привести Вениамина обратно. Поэтому, господин, прошу тебя, оставь меня своим рабом, а Вениамина отпусти. Как могу я без него

показаться на глаза отцу? Ведь он умрет с горя!

Иосиф не выдержал, заплакал и открылся братьям.

— Я Иосиф,— сказал он,— брат ваш, которого вы продали в Египет. Судьба уберегла меня, и возвысила над людьми, и дала мне власть, чтобы я мог спасти от голодной смерти и вас, и отца. Идите же к нему и скажите: «Отыскался сын твой Иосиф; он ныне господин в Египте. Приди же к нему, не медли. Иосиф хочет, чтобы ты жил около него. Он прокормит тебя и детей твоих и спасет всех вас». Скажите отцу моему, что вы видели в моем доме. Идите и приведите его ко мне!

И обнял Иосиф Вениамина, своего брата, и плакал на груди у него. И всех братьев обнимал он, и целовал, и простил им зло, которое они причинили ему.

Фараону донесли, что Иосиф нашел своих братьев, пришедших

из земли Ханаанской. И захотел фараон сделать добро человеку, который честно служил ему и египетскому народу, и повелел привести в Египет отца Иосифа и всех его родичей, обещал им дать землю и хлеб, и колесницы для людей и имущества.

Долго не мог Иаков поверить, что Иосиф, его любимый сын, жив, что живет он в славе и богатстве, и помнит отца своего, и зовет его жить с собою. Но так велико было желание отца увидеть сына, которого он давно привык считать погибшим, что приказал Иаков своим родичам сейчас же собираться в дальний путь.

Они простились с землей Ханаанской и пошли в Египет — весь род Иакова, все его дети и внуки, все рабы и рабыни со всеми стадами. И дал Иосиф отцу и братьям землю, дома, колесницы и все, что нужно было им, чтобы жить, не зная нужды и голода.

Пересказала В. СМЕРНОВА

Продолжение следует





НЕДОПЕТАЯ ПЕСНЯ РОССИИ

В ночь с 14 на 15 октября 1814 года в Москве, у Красных ворот, в доме генерал-майора Федора Николаевича Толя в семье отставного капитана Юрия Петровича Лермонтова родился сын.

Его назвали Михаилом и ранней весной следующего года отвезли в деревню Тарханы, к бабушке.

Деревня эта находилась в Чембарском уезде, Пензенской губернии. Там-то и прошло детство Мишеньки Лермонтова — будущего великого поэта.

Что видел он там? Что рассказывали ему в первые годы жизни? Что запомнилось ему лучше всего?

Самое первое его впечатление — песня маменьки. Вспоминая об этом, пятнадцатилетний Михаил Лермонтов писал: «Когда я был трех лет (на самом деле ему только шел третий год), то была песня, от которой я плакал; ее не могу теперь вспомнить, но уверен, что если б услышал ее, она бы произвела прежнее действие. Ее певала мне покойная мать».

А когда мальчику шел третий год, маменька умерла. Мишенька на всю жизнь запомнил сцену похорон и через восемнадцать лет так описал их:

Он был дитя, когда в тесовый гроб
Его родную с пеньем уложили.
Он помнил, что над нею черный поп
Читал большую книгу, что кадили,
И прочее... и что, закрыв весь лоб
Большим платком, отец стоял в молчанье.
И что, когда последнее лобзание
Ему велели матери отдать,
То стал он громко плакать и кричать...

Маменьку похоронили в Тарханах, там, где прошло его детство, и Мишенька часто подолгу простаивал в семейном склепе у могильной плиты, на которой было написано: «Под камнем сим лежит тело Марии Михайловны Лермонтовой, урожденной Арсеньевой, скончавшейся 1817 года февраля 24-го, в субботу, житие ей было 21 год, 11 месяцев, 7 дней».

Елизавета Алексеевна, полагая, что не будет ей счастья в доме, где умерли и муж ее и дочь, приказала снести старые господские хоромы, а на их месте велела воздвигнуть церковь во имя святой Марии Египетской — ведь покойную ее дочь тоже звали Марией. А рядом с церковью построила дом с мезонином, где и стала жить со своим внуком.

А когда было ему шесть лет, он нарисовал на листке синей бумаги в доставшемся ему альбоме двоюродной его тетки памятник, окруженный цветами, и урну.

Это был один из первых дошедших до нас рисунков Лермонтова, и, наверное, совсем не случайным оказался именно этот сюжет — смерть матери, поразившая воображение мальчика на многие годы.

Домашние, наблюдавшие маленького Мишеньку, с удивлением заметили, что, едва научившись говорить, он стал рифмовать слова, а потом и короткие фразы.

Почти тогда же начал он и рисовать, ползая по обитому сукном полу в своей детской комнате и чертя по сукну мелом. И даже на портрете — самом раннем, где Мишеньке около трех лет, он изображен с мелом в правой руке и свитком с рисунками — в левой.

И, конечно же, не случайно, что одно из первых своих стихотворений, названное «Поэт», тринадцатилетний Лермонтов посвятил великому итальянскому художнику Рафаэлю.

Живою кистью окончал:
Своим искусством восхищенный
Он пред картиною упал!

А потом Лермонтов писал, что поэт, как и художник, воспекает красоту мира. И это делает художников и поэтов родными братьями...

Через девять дней после смерти маменьки из Тархан уехал отец Мишеньки — отставной капитан Юрий Петрович Лермонтов.

Когда мальчик подрос, он узнал, что виновником смерти маменьки была не столько чахотка, сколько отец его — Юрий Петрович — любитель вина, женщин и карточной игры.

Он узнал, что однажды, возвращаясь из гостей, отец ударил маменьку кулаком по лицу и именно после этого она и заболела.

Но хотя всю свою короткую жизнь Михаил Лермонтов жалел

и любил страданицу мать, он не позволял себе никаких дурных чувств по отношению к отцу.

А когда отец скончался, то шестнадцатилетний поэт посвятил ему такие стихи:

Ужасная судьба отца и сына
Жить розно и в разлуке умереть
И жребий чуждого изгнанника иметь
На родине с названием гражданина!
Но ты свершил свой подвиг, мой отец,
Постигнут ты желанною кончиной;
Дай бог, чтобы, как твой, спокоен был конец
Того, кто был всех мук твоих причиной!
Но ты простишь мне! Я ль виновен в том,
Что люди угасить в душе моей хотели
Огонь божественный, от самой колыбели
Горевший в ней, оправданный творцом?
Однако ж тщетны были их желанья:
Мы не нашли вражды один в другом,
Хоть оба стали жертвою страданья!
Не мне судить, виновен ты иль нет...

Отец отвечал сыну тем же. В оставленном завещании Юрий Петрович писал: «...Ты одарен способностями ума,— не пренебрегай ими и всего более страшись употреблять оные на что-либо вредное или бесполезное: это талант, в котором ты должен будешь некогда дать отчет Богу!.. Ты имеешь, любезнейший сын мой, доброе сердце... Благодарю тебя, бесценный друг мой, за любовь твою ко мне и нежное твое ко мне внимание».

* * *

О чем еще рассказывали мальчику в годы его детства?
Не только об отце, который не жил с ним, и не только о матери, так рано оставившей его.

Как и всякий благородный человек, Лермонтов не мог не интересоваться своим родословием, и здесь для него оказалась масса прелюбопытнейших сведений.

На протяжении всей своей жизни Михаил Юрьевич не переставал интересоваться своей генеалогией. А она была более чем неординарна.

По отцу предками Лермонтовых были шотландские дворяне, происходящие от легендарного Лерманта — поэта-проицателя, основоположника шотландской литературы, известного в народе под именем Томаса-Рифмача.

Томас Лермант получил права дворянина во второй поло-



ЧЕРКЕСЫ.



Подобно племени Батыя,
Измѣнишь предѣлаи Кавказа; —
— Забудѣдрани вѣщи гласъ,
Оставитъ стрѣлы боевыя,
. . . И къ тѣмъ скаламъ гдѣ крились вы,
Подѣблетъ путникъ безъ дозвѣни;
И возвѣстятъ о вѣщей казни
Преданья темныя молвы!
А Пушкинъ!

вине XI века от шотландского короля Малькольма III за то, что помог ему в междоусобной войне с Макбетом — тем самым Макбетом, который был обессмертен Шекспиром.

В 1613 году один из потомков Томаса Лерманта — Георг (Юрий) оказался в России во время польско-шведской интервенции и вместе с шестьюдесятью своими соотечественниками перешел на русскую службу. Потом он служил в войске князя Пожарского и погиб за свою новую родину, сражаясь против поляков.

Потомки Лерманта служили России верой и правдой и почти все были офицерами: прапрадед был капитаном в армии Петра I, прадед — секунд-майор, а дед — поручик в армии Екатерины II, отец, как мы уже знаем, вышел в отставку — капитаном.

Шотландские прародители со стороны отца дополнялись татарскими предками со стороны матери.

Ее род в России вел свое начало от перешедшего на службу к Дмитрию Донскому татарского мурзы Челебея. В четырнадцатом колене в родословии Арсеньевых значится дед поэта Михаил Васильевич — капитан лейб-гвардии Преображенского полка, предводитель дворянства Чембарского уезда Пензенской губернии. Мишенька назван был в честь, и по утверждению домочадцев, знавших чембарского предводителя, внук перенял от него и характер, и привычки, и нрав, и свойства.

Михаил Васильевич был умен, влюбчив, необуздан нравом, непредсказуем в поступках. Он увлекался театром и нередко устраивал в Тарханах, купленных им у помещика Нарышкина, любительские спектакли и маскарады.

1 января 1810 года в доме Арсеньевых ставили «Гамлета», и сорокадвухлетний хозяин усадьбы играл роль могильщика. В антракте Михаил Васильевич сел между женой и дочерью и, обняв их за плечи, сказал: «Ну, любезная моя, Лизанька, ты у меня будешь вдовушкой, а ты, Машенька, будешь сироткой». С тем «могильщик» в костюме и гриме вышел в гардеробную комнату и там отравился.

Спасти его не удалось.

Скоропостижная вдова, забрав пятнадцатилетнюю дочь, тотчас же уехала, не оставшись на похороны и приказав дворovým самим предать самоубийцу земле. Она была не просто обижена, но уязвлена и оскорблена нелепой и греховной смертью мужа, бросившего содеянным тень и на нее и на осиротевшую дочь.

Елизавета Алексеевна была горда, независима и самолюбива. Ее характер в значительной мере был плодом на старом и богатом генетическом древе ее рода — рода состоятельных и на редкость хозяйственных русских дворян Столыпиных.



Елизавета Алексеевна гордилась своим происхождением, и Мишенька знал, что в родстве с его бабушкой были князья Черкасские, Трубецкие, Вяземские и Горчаковы, графы Мордвиновы и Шереметевы, столбовые дворяне Анненковы, Воейковы, Евреиновы, Философовы и многие иные.

Из рода Столыпиных вышли крупные государственные и военные деятели — министры, командиры полков, губернские предводители дворянства, дипломаты. Один брат бабушки поэта — Александр был адъютантом Суворова, другой — Аркадий — тайным советником и сенатором, другом знаменитого М. М. Сперанского, третий — Николай — генерал-лейтенантом, военным губернатором Севастополя, четвертый — Дмитрий — другом Пестеля, командир корпуса, которого декабристы прочли в состав своего Временного правительства. Наконец, пятый — младший брат бабушки — Афанасий — участник Бородинского сражения, награжденный золотой шпагой «За храбрость». Это он рассказывал поэту о великом сражении под Москвой, и его впечатления помогли Лермонтову написать одно из лучших своих стихотворений — «Бородино». (Кстати, первое из опубликованных им стихотворений).



Со Столыпиными — дядьями и тетками, двоюродными и троюродными братьями и сестрами — дружил Михаил Лермонтов и всегда замечал, что все они представляют собою сплоченную семейную корпорацию людей талантливых, жизненно стойких, чаще всего практичных и жестких, целеустремленных и волевых, не лишенных романтизма и мечтательности, но вместе с тем достаточно прочно стоящих на земле.

* * *

Многими из этих качеств обладала и бабушка Мишеньки. Твердость характера, свойственная Елизавете Алексеевне и до смерти мужа, после того стала еще сильнее.

Именно с нею предстояло теперь жить ее дочери, а после того, как Мария Михайловна скончалась, на руках Елизаветы Алексеевны остался и ее единственный сын — Мишенька. С самого начала жизни был он окружен трепетной заботой и безмерной любовью бабушки. В письме к своей троюродной сестре — Прасковье Александровне Крюковой — Елизавета Алексеевна писала о внуке: «Он один свет очей моих, все мое блаженство в нем».

О его детстве сохранились воспоминания тарханских трестьян. Вот лишь некоторые из них.

На день рождения бабушка однажды спросила его:

— Что подарить тебе, Мишенька?

И он ответил:

— Дайте мне один день поуправлять имением.

Бабушка согласилась, и Мишенька в этот день подарил крестьянам барскую рощу — Долгую рощу, как ее называли.

Только бабушка на следующий день рощу эту отобрала назад.

Однако в другой раз Мишенька сумел настоять на своем. А дело было так: крестьяне собрали 36 рублей, купили красивого серого коня и подарили его молодому барину. Мальчик был несказанно рад подарку и упросил бабушку, чтобы она разрешила крестьянам, которые подарили ему коня, взять из Долгой рощи столько леса, сколько нужно будет, чтобы построить каждому из них по новой избе.

Бабушка разрешила, и в деревне появилась новая улица, а над каждой избой был поставлен конек. Наверное, в память о подарке, который сделали крестьяне своему любимцу.

А если кого-нибудь из крестьян вели пороть, Мишенька бросался освобождать несчастного — с палкой, с ножом, с чем поало. И бабушка отменяла наказание.

Воспоминания о добром и великодушном мальчике передавались из поколения в поколение, и коренные жители Тархан рассказывают об этом даже сегодня.

Когда же Михаил Юрьевич получил право распоряжаться судьбами принадлежавших ему рабов, его «крещенной собственностью», он, конечно же, отпустил всех их на волю, не взяв, разумеется, ни копейки выкупа.

... А пока жил он с бабушкой в деревне, играл со сверстниками в военные игры, учился музыке и языкам, слушал рассказы взрослых и сверстников и думал обо всем, что видел и с чем довелось ему услышать. И переплавлял все это в уме и сердце своем в дивные стихи, то преисполненные печали, то полыхавшие бунтарством, то звеневшие прощальными колокольчиками разлуки...

Его стих был необычайно музыкален. Наверное, это являлось следствием того, что Михаил Лермонтов с самого раннего детства был одержим не только поэзией и рисованием, но и музыкой.

Музыка сопровождала Лермонтова всю жизнь. Он играл на фортепьяно. Играл на скрипке. В 14 лет он публично исполнил аллегро из скрипичного концерта Людвиг Маурера — произведение, весьма трудное для исполнения.

Однако же начало всему этому было положено в Тарханах, в первые годы его жизни.

* * *

А потом была поездка с бабушкой на Кавказские Минеральные воды (летом 1820 года и еще одно путешествие в 1825-м, когда пришла и первая любовь, случившаяся в Горячеводске). В тот год Мишелю сравнялось десять лет. И он записал несколько лет спустя: «Говорят (Байрон), что ранняя страсть означает душу, которая будет любить изящные искусства. Я думаю, что в такой душе много музыки».

Кавказ потряс мальчика. И этот край, где посетила его первая любовь, стал для него вечной любовью. «Юный поэт заплатил полную дань волшебной стране, поразившей лучшими, благодатнейшими впечатлениями его поэтическую душу. Кавказ был колыбелью его поэзии, так же, как он был колыбелью поэзии Пушкина, и после Пушкина никто так поэтически не отблагодарил Кавказ за дивные впечатления его девственно величавой природы, как Лермонтов», — писал В. Г. Белинский.

«Кавказский пленник» Пушкина был одной из любимых поэм юного Лермонтова. Под ее впечатлением он в 1828 году написал собственную поэму под тем же названием. А первой его поэмой были «Черкесы», написанные летом того же 1828 года.

Первый свой опыт в драматургии четырнадцатилетний Лермонтов посвятит также Пушкину. В 1829 году он попробует написать либретто к опере «Цыганы» и снова по мотивам одноименно поэмы Пушкина, но, кажется, не доведет это дело до конца.

И в том же году он начнет писать одно из самых главных своих произведений — поэму «Демон», работа над которой займет у него десять лет.

...В 1824 году в печати появилось стихотворение Пушкина «Мой демон». Лермонтов, прочитав его, в 1829 году написал стихотворение под таким же названием, и еще одно год спустя — и снова под тем же названием, но только суть произведений была диаметрально противоположна — Пушкин противостоял Демону, Лермонтов же — нерасторжимо был с ним связан.

О своем демоне Пушкин писал:

Печальны были наши встречи:
Его улыбка, чудный взгляд,
Его язвительные речи
Вливали в душу холодный яд.
Неистощимой клеветой
Он провиденье искушал
Он звал прекрасное мечтою;
Он вдохновенье презирал;
Не верил он любви, свободе,

На жизнь насмешливо глядел —
И ничего во всей природе
Благословить он не хотел.

А лермонтовский демон столь же язвительный и холодный, столь же коварный и презрительный, чуждый любви и сожаленья, все-таки близок юному поэту:

И гордый демон не отстанет,
Пока живу я, от меня,
И ум мой озарять не станет
Лучом чудесного огня;
Покажет образ совершенства
И вдруг отнимет навсегда
И, дав предчувствия блаженства,
Не даст мне счастья никогда.

Осенью 1829 года Лермонтов начал изучать английский язык, и вскоре рядом с Пушкиным встал перед юным стихотворцем еще один великий поэт — Джордж Ноэл Гордон Байрон — романтик и бунтарь, английский аристократ, погибший в борьбе за свободу Греции. Пожалуй, ни один поэт не произвел на юного Лермонтова такого глубокого и сильного впечатления, как Байрон — властитель дум лучших людей тогдашней России. Пожалуй, не было в первые годы творческой жизни Лермонтова никакого другого поэта, чье бы воздействие оказалось таким плодотворным.

И какую же кардинальную внутреннюю эволюцию надо было пережить молодому поэту, чтобы в семнадцать лет написать:

Нет, я не Байрон, я другой,
Еще неведомый избранник,
Как он гонимый миром странник,
Но только с русской душой.
Я раньше начал, кончу ране,
Мой ум немного совершит;
В душе моей, как в океане,
Надежд разбитых груз лежит.
Кто может, океан угрюмый,
Твои изведать тайны? Кто
Толпе мои расскажет думы?
Я — или бог — или никто!

Сравнивая себя с богом, молодой поэт в собственном представлении становится выше всех смертных, а следовательно, и выше Байрона.

И в одной ли творческой эволюции дело? Нет, наверное.

Однако это уже выходит за рамки того, о чем хотелось рассказать...

ТУСОВКА

ПОСМОТРЕТЬ НА САМИХ СЕБЯ



УЖЕ ЗНАКОМЫЙ ВАМ ТУС ПРЕДСТАВЛЯЕТ ТЕХ, КТО ВСТРЕТИЛСЯ СЕГОДНЯ ЗА ТУСОВАЛЬНЫМ СТОЛОМ: АНДРЕЙ, КИРИЛЛ, ЛЕРА (ВАЛЕРИЯ), МАКСИМ, НАТАША, ЯША И ЛЕША (ПО УБЕЖДЕНИЯМ ХИППИ) И, КОНЕЧНО ЖЕ, «ЛЕТОПИСЕЦ» ТУСОВКИ ИЛЬЯ.

ТУС. «Здравствуй, «Мы»! Обращаются к тебе две подружки — Люда и Оля, ученицы 10«А» класса. Мы любим читать журналы, но большинство из них — для определенного круга читателей, поэтому мы очень рады появлению нового журнала для подростков. И хотелось бы, чтобы в нем затрагивались все, абсолютно все проблемы и заботы сегодняшних подростков...» Как вы уже догадались, это письмо будущих читателей журнала. А что бы тусовка ответила Люде и Оле? Какие, собственно, сегодня у нас с вами проблемы и заботы?

ЯША. Моя личная проблема — попасть туда, куда захочу. Вот недавно мы праздновали день рождения Леннона. Собрались на **ВДНХ**, пели песни, разговаривали. Повод встретиться такой большой толпой — нас было около двухсот — не так часто случается: дни рождения «Битлов», в день их последнего концерта и день смерти Леннона. Тут-то мы и познакомились с Максимом. А он пригласил нас сюда на вашу тусовку.

ИЛЬЯ. Как к вашему сборищу отнеслись прохожие?

ЯША. Да они шарахались! Что, мол, за толпа? Шли бы лучше на завод работать. Потом мы поехали на Таганку — смотреть фильм «Имейджн», в видеозале показывали. Нас не пускали, мы чуть штурмом не взяли зал, приехала милиция, сказали, что пустят в 9 вечера. На этот раз — пустили. А могли бы и не пустить, как уже не раз бывало. Что же касается вашего журнала, то я, честно говоря, еще не видел ни одного объективного журнала. У нас либо ругают, либо хвалят, а чтобы объективно осветить событие — это редкость. Не представляю, что вам удастся сделать.

ИЛЬЯ. Это должен быть совершенно особенный журнал, это касается и стиля. Наша пресса наводнена канцеляризмами. Скучно открывать газету или журнал. Пусть же в нашем журнале будет царствовать разговорная речь. Но главное, это должен быть журнал с альтернативным подходом ко всем темам. Не надо заигрываний с читателем. Когда у нас пишут о подростках, то берут крайние точки: или неформалов, какие-нибудь их экстремистские проявления, или же излишне официальные организации, например, комсомол. Надо писать о среднем подростке.

СТОП-СТРОКА: НАДО ПИСАТЬ О СРЕДНЕМ ПОДРОСТКЕ.

МАКСИМ. Стоит ли все усреднять?

ЛЕША. И так у нас пытаются стричь всех под одну гребенку. Чуть изменил внешний вид — уже нотация. Так быть не должно. Милицию вызывают, таких ребят — на опыты.

ЯША. Еще бы, у нас не любят тех, кто выделяется. А это личное дело каждого человека. Смысл такого «прикида», например, разорванных джинсов на мне — отрицание, бунт. Но у нас мало настоящих хиппи.

ЛЕША. В хиппи обычно ходят до армии. После армии уже ко многому по-другому относятся, многие обзаводятся семьями, появляются другие интересы, на тусовку приходят редко, просто встретиться со старыми друзьями.

ЯША. Все-таки настоящие хиппи верны своим идеям всю жизнь. Но в армии трудно остаться пацифистом. Мы ведь пацифисты.

ЛЕША. Да, хиппи — пацифисты. Они сосредоточены на себе, контакты с внешним миром минимальны, друзья — только на тусовке. Все эти войны их не касаются. Но если дадут автомат, что поделаешь, опять приходится смириться. Значит, так должно быть.

ЯША. А что изменишь? Людям стало привычным убивать друг друга. А сейчас эту грандиозную военную машину не остановишь. И зачем нам, собственно, армия? Да и все другие организации? Зачем они?

КИРИЛЛ. Лично я вступаю в комсомол обязательно.

НАТАША. Обидно только, что при приеме в комсомол ничего не изменилось. По-прежнему по понедельникам ребята собираются в пионерской комнате, проходят занятия школы пионерского актива. Изучаются устав и задачи Союза молодежи. Все аккуратненько пишут в тетрадочку то, что им продиктуют. Чтобы вступить в комсомол, ничего особенного не требуется. Если бы был строгий объективный отбор по каким-то качествам, я бы вступила. А так — сначала все вступают в октябрята, потом все вступают в пионеры. И в комсомол.

ИЛЬЯ. Комсомол нужен, конечно. Но наряду с этим должны быть другие союзы молодежи.

ЯША. Комсомол слишком всем поднадоел. Бюрократия.

ЛЕША. Я был полтора года в комсомоле. Ну и что же он мне дал? Я пошел в райком комсомола и положил свой билет на стол — выхожу. На меня посмотрели такими бешеными глазами. Как так? Товарищеский суд устроили. А что мне там делать? Просто платить взносы?

НАТАША. Если и вступать в комсомол, то только для того, чтобы попасть в институт. Что же получается, вступать, чтобы потом выйти? Так что я не тороплюсь.

КИРИЛЛ. А что? Побывать немного в комсомоле, и все.

НАТАША. Я считаю, что веду достаточно активную жизнь и без комсомола. Я не вижу, что можно реально сделать в этой организации. Не хочу на себя брать ответственности. Хотя в теории все задумано замечательно, тот же комсомол. Но в жизни все по-другому.

ИЛЬЯ. Нам нужны альтернативные организации!

ЯША. Зачем вообще нужны организации? Вот мы собираемся вместе на тусовки. Нам не нужны бумаги, отчеты, взносы, нет аппарата.

ИЛЬЯ. Альтернативную роль может играть и свободная пресса.

НАТАША. Я не считаю обязательным облекать прогрессивную идею в рамки организации. Если у людей есть идеи — они объединяются и общаются.

ИЛЬЯ. Для ребят, которых школа нивелировала, не дала раскрыться, сохранить свою индивидуальность, может быть создана организация: Союз жертв любимой школы. Предлагаю публиковать проекты альтернативных школ.

МАКСИМ. А что? Кто-то считает себя жертвой школы?

НАТАША. Я себя не считаю жертвой. У нас стало чуть ли не правилом хорошего тона ругать школу. А если вдуматься, это ведь наша жизнь, она складывается из каких-то человеческих взаимоотношений. Мы сами создаем атмосферу, какой мы дышим. Я не думаю, что все надо сваливать на школу. Школа ведь это и мы с вами. Я считаю, что непорядочно обвинять всех вокруг. Мы привыкли всех ругать, вместо того чтобы посмотреть на самих себя.

КИРИЛЛ. Если бы были разные организации, легче было бы критиковать. Сейчас в школах вводят самоуправление. Но это пустая формальность.

НАТАША. С одной стороны, конечно, как был директор-батьюшка, так и остался. Правда, сейчас у нас новый директор, получше стало, но структуры те же. Школа, как и государство, зависит сейчас от личности руководителя. Захочет директор — будет самоуправление, не захочет — не будет.

АНДРЕЙ. Самоуправление возможно, если вы сами захотите его. Но большинство ребят не хотят брать этой ответственности на себя.

ЛЕРА. Просто они не готовы. Нет таких. С детского сада нас учили слушать во всем взрослых, подчиняться, и даже в 9—10-м классах ребята не в состоянии быть самостоятельными. Самоуправление — это нормально.

МАКСИМ. Я, например, на школьном совете предложил отменить форму. Мы остались в меньшинстве. Ведь в совет входят учителя, родители и ученики. У каждого одна треть голосов. Ученики — в меньшинстве.

ЛЕРА. Но ведь вы сами выбираете совет тайным голосованием. Сами выбираете тех же учителей. Так все демократично.

ЯША. Знаем мы, как проходят выборы. К нам пришел классный руководитель и сказал: такой-то и такой-то будет в совете от класса. Пожалуйста!

ВСЕ. А что вы сделали?

ЯША. А что мы можем?

ГОЛОСА. Выдвинуть своих. Мы хотим того-то!

ЯША. А нам скажут: «А кого, извините, трясет, что вы хотите? Хотите на здоровье!»

ИЛЬЯ. А у нас вообще нет совета в школе. Тут говорили, что важно проявить активность, и все будет нормально. А что может сделать ученик, если его точка зрения отличается от учительской? Допустим, я отказался отвечать по учебнику «История СССР». Мне поставили «2» и в полугодии, и в году. Хотя в первом полугодии было «5». Ну вот и скажите, к кому обращаться, на кого жаловаться?

МАКСИМ. А в классе как отнеслись к ситуации?

ИЛЬЯ. Кто-то позитивно, кто-то негативно. Даже некоторые учителя были на моей стороне. Но в общем никому нет до меня никакого дела. Я, допустим, не расстроился, а ведь кто-то на моем месте бы расстроился. Что ему делать?

АНДРЕЙ. У тебя есть право отказаться от этого учителя. Пишешь заявление директору и сдаешь зачеты другому учителю. Если директор ничего не делает, идешь в руно. Можешь оформить свободное посещение и сдавать зачет. Здесь надо рассматривать каждый конкретный случай.

ЛЕРА. Наши права — вот бы о чем поговорить отдельно на нашей тусовке. Мы ведь многого здесь не знаем. Даже того, что касается наших отношений с учителями.

ИЛЬЯ. Тогда мне учитель сказал, что есть программа. И он, видимо, прав. И я не собираюсь с ним спорить.

МАКСИМ. Он решил формально следовать программе?

ИЛЬЯ. Я думаю, что ему просто приятно поиздеваться. Он молодой парень. Сам пять лет назад был учеником. Над ним издевались, теперь он издевается. Это такой феномен «вахтера». Вот меня сейчас тоже вахтер не пропускал полчаса в редакцию. Не положено без пропуска.

МАКСИМ. Маленькие «наполеончики».

НАТАША. Я все-таки не согласна. Наша школа не такая уж плохая. У нас хорошие отношения с учителями, потому что мы поняли, что прежде чем требовать что-то, надо быть самым порядочными людьми. Тогда и к вам будет человеческое отношение. Может, и твоего историка перед этим какой-нибудь класс «довел». Хотя это его и не оправдывает.

ИЛЬЯ. Формально он прав.

НАТАША. И формально не прав.

АНДРЕЙ. В нашем лицее учителя даже радуются, если ты высказываешь свою точку зрения и хочешь поспорить.

НАТАША. Добиться к себе уважения со стороны учителей — это реально.

ЯША. Что-то не верится, что все, что вы здесь говорите, будет напечатано.

НАТАША. И не такое сейчас печатают. Говорить-то все научились, только делается мало.

ИЛЬЯ. Я думаю, что наш журнал должен нести еще и организаторские функции. Одного протеста, конечно, мало. Мы должны также помогать всем хорошим начинаниям.

НАТАША. И отражать в журнале разные точки зрения на проблему, чтобы из них читатель мог сформировать свою. Главное, не навязывать человеку позицию: дать ему выбор.

ЯША. И не стараться делать всех одинаковыми.

МАКСИМ. А чем, например, ты отличаешься от своих сверстников?

ЯША. Убеждениями, образом жизни. Я, например, стараюсь избавляться от стереотипов. Устану в метро стоять, сяду на пол, и мне все равно, что обо мне подумают.

ИЛЬЯ. Я хочу напомнить, что наше конкретное дело — журнал. Нам нужна свободная информация.

НАТАША. Давайте только не будем вдаваться в высокие материи. Мне интересны конкретные проблемы. Интересно было бы почитать новые рассказы о том, что делается в нынешней школе.

МАКСИМ. Школа — это скучно.

НАТАША. Но ведь дела в ней можно представить поразному. Давайте искать альтернативы скуке.

ИЛЬЯ. Мы должны искать талантливых людей и помогать им.

НАТАША. Взаимоотношения с родителями — вот, пожалуй, еще одна тема для нашей тусовки. Вот мы говорим: «трудный возраст». А ведь, по сути, мы не умеем общаться со своими родителями. Привыкли спрашивать с родителей и учителей по максимуму. А почему они должны быть идеальными? Такими, какими мы хотим их видеть? Я призываю видеть в родителях прежде всего людей с их недостатками и слабостями, уметь видеть в них хорошее.

ИЛЬЯ. А то мы больше ругаем, критикуем. А надо предлагать, как же сделать лучше? Журнал «Мы» — это журнал поколения, которое фактически сформировалось уже в годы перестройки. Что мы за поколение?

СТОП-СТРОКА: ЖУРНАЛ «МЫ» — ЭТО ЖУРНАЛ ПОКОЛЕНИЯ, КОТОРОЕ ФАКТИЧЕСКИ СФОРМИРОВАЛОСЬ УЖЕ В ГОДЫ ПЕРЕСТРОЙКИ.

НАТАША. А во что мы верим? Раньше верили в Сталина, в то, что наше общество самое замечательное. А нам остается верить в себя и в своих близких.

МАКСИМ. Важно еще и иметь чувство юмора. Без этого не выжить.

СТОП-СТРОКА: НАДО ИМЕТЬ ЧУВСТВО ЮМОРА, ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ...

ИЛЬЯ. Давайте спросим наших читателей: «А что вокруг нас хорошего?»

НАТАША. Хорошего много! Только сейчас мы его не видим. Мы же хорошие! Пока мы этого не поймем, ничего не получится.

МАКСИМ. Ой, как долго мы себя хвалили! Мы самые лучшие в мире!

ЛЕРА. Сидим здесь и занимаемся трепом! Что у нас есть сказать другим? Что мы сделали сами, своими руками?

Яша и Леша по убеждениям хиппи. Об этом стоит подумать...

ТУС: Оттусовались — и по домам!

Всем спасибо — даже тем, кто не участвовал, а только собирается.

ВАШ ТУС — Твое Услышанное Слово.

До новых встреч!

А В ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ (совершенно правдивая история)

А в почтовом отделении

Будто все сошли с ума.

А в почтовом отделении

Вот такая кутерьма:

— Не хотим мы, тетя,

Тьмы, тьмы, тьмы!

Выпишите, тетя,

«Мы», «Мы», «Мы».

И старушечка с клюкой

Прибежала за толпой:

«С молодежью, детки, буду я

«на ты»,

Выпишите бабке «Мы», «Мы»,

«Мы».

— Эй, назад подай, подруга! —

В кассу ломит металлога:

— Отдаю я весь металл

За подписку на журнал.

Цепи толстые с меня вы снимите,

На журнал вы меня подпишите!

А гаишник-то стоит удивляется:

Возле почты мотоциклы все
валяются.

Это рокеры-ребята — ох! —

толковые,

Подписаться на журнал наш

готовые!

Даже хиппи сегодня появились,

Волосами за журнал зацепились.

— Хиппи «Юности» не надо!

— «Комсомолка» не нужна!

А в почтовом отделении

Будто все сошли с ума...

А в почтовом отделении

Вот такая кутерьма!

Рассказал летописец

«Тусовки» Илья




Фото Александра ТЯГНЫ-РЯДНО

ЕСЛИ БЫ ВСЕ ПРОБЛЕМЫ
РЕШАЛИСЬ ТАК ЖЕ ЛЕГКО И БЫСТРО,
КАК ТАЕТ СИГАРЕТНЫЙ ДЫМ...
ОДНА ЗАТЯЖКА, ДРУГАЯ.
ТЯЖЕЛЕЕТ ГОЛОВА.
СИГАРЕТА КОНЧАЕТСЯ.
А ПРОБЛЕМЫ ОСТАЮТСЯ.
НАВЕРНОЕ, ДО ТЕХ ПОР.
ПОКА В РУКАХ
ВМЕСТО СИГАРЕТЫ
НЕ БУДЕТ НАСТОЯЩЕГО ДЕЛА.

Цена 80 коп.

Индекс 70554

В следующих
номерах «Мы» —
впервые
в нашей стране —
организует встречу
со знаменитым
«агентом 007» —
Джеймсом БОНДОМ —
героем остросюжетного
детектива
Яна Флеминга
«Операция «Гром».

